



Леонид
Подольский

РАСПАД

Леонид Подольский

Распад

«Издательские решения»

Подольский Л.

Распад / Л. Подольский — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-509688-3

«Распад» — это пропитанный символикой и магией роман о неизбежном сломе заблудившейся в лабиринтах лжи жизни, об окончании эпохи, которая казалась вечной и о разрушении скреп. Это роман о науке и о научном поиске, о том, как возникают, торжествуют и распадаются лжетеории, о командно-административной системе, об истории, о любви и ревности, но прежде всего это роман о людях и обществе. Роман, в котором, как в капле воды, отражается Вселенная. Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-00-509688-3

© Подольский Л.
© Издательские решения

Содержание

Предисловие	6
Распад. Часть первая	10
ГЛАВА 1	10
ГЛАВА 2	14
ГЛАВА 3	21
ГЛАВА 4	27
ГЛАВА 5	30
ГЛАВА 6	39
ГЛАВА 7	46
ГЛАВА 8	50
ГЛАВА 9	58
ГЛАВА 10	62
ГЛАВА 11	67
ГЛАВА 12	72
ГЛАВА 13	78
Конец ознакомительного фрагмента.	83

Распад

Леонид Подольский

© Леонид Подольский, 2019

ISBN 978-5-0050-9688-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

«Распад» – мой первый роман. Роман с особенной и нелегкой судьбой. Он был в основном написан в другой – и для меня, и для страны – жизни, в годы перестройки. Для меня это был очень важный, но, как оказалось, промежуточный итог, завершение первой части жизни.

Между «Распадом» и другими моими романами – «Экспериментом», «Идентичностью», и неопубликованным пока «Инвесткомом», да и большей частью всего написанного мной, пролегли бурные и противоречивые девяностые и обозначившие ретроградную тенденцию двухтысячные. Годы, которые можно обозначить словами Пушкина, как время: «Ума холодных наблюдений / И сердца горестных замет». Эти «холодные наблюдения и горестные заметы» делали меня и все мое поколение другими людьми, меняли нас, и далеко не всегда в лучшую сторону. Вот почему мне дорог мой «Распад»: как воспоминание о прошлом, о неомрачённых ещё надеждах, о мечтах, откровениях и, увы, о заблуждениях, которых оказалось немало. Иначе говоря, как напоминание о времени, когда мы все были наивны и «распад» ассоциировался для нас – для очень многих из нас, – не с концом, а, напротив, с началом новой, иной, лучшей жизни. Когда не случилось еще всех этих «незрелых и увядших лет».

То был мой дебютный, не очень долгий приход в литературу, если не считать немногочисленные юношеские опыты. Над «Распадом» я работал целых шесть лет, вначале урывками, по вечерам и выходным, с долгими перерывами, во время которых создал несколько повестей и около полутора десятков рассказов, в основном юмористических, хотя никогда не стремился стать писателем-юмористом.

Мой «Распад» – это в некотором роде роман-предсказание, попытка угадать будущее, но вместе с этим и попытка осмыслить действительность, советскую жизнь, эпоху, как вскоре оказалось, подхлотившую к концу. Начинать я писать исключительно для себя и для очень узкого круга, это было мое исследование, шансов обойти цензуру и издать свой роман у меня практически не было никаких. На тот момент я не был человеком, инкорпорированным в литературу, напротив, человеком со стороны, без всяких литературных знакомств. Однако так совпало, что время, когда я работал над «Распадом», оказалось переломным, – наступила перестройка. И вместе с ней гласность. На нас, на страну обрушились потоки невозможной прежде правды. Соцреализм отступал, уступая место чему-то новому. И хотя я и раньше очень многое знал, очень многое понимал и о многом догадывался, так что мне не пришлось ни в чем пересматривать свои убеждения и ничего переписывать (как часто приходилось авторам советского времени), благодаря многоголосому гулу времени перо мое становилось все свободнее. Хотя, конечно, тут не только влияние времени, не только свобода, тут и литературный опыт, который я обретал. В самом деле, мне повезло, я начинал писать в мрачное, подцензурное, андроповское время, а заканчивал свой роман в почти свободной стране. Увы, я еще не догадывался тогда, что свобода и справедливость разминутся, а потом и вовсе окажутся не нужны.

Соответственно, вначале, когда я только садился за свой роман, я предполагал другое название, которое долго вынашивал в себе: «Неумолимый бег времени» – значительно более нейтральное, с едва лишь ощутимым намеком. Потому что даже в глухие годы застоя ощущались тектонические толчки и все больше крепло ощущение, что что-то должно произойти и измениться, что застывшая, казалось, история, вот-вот собирается прийти в движение. И в самом деле, она пробудилась! И где-то году в 1988-м, возможно, чуть раньше, или чуть позже, в моем воображении, а может впервые на улицах, сейчас уже трудно вспомнить, прозвучало новое, непривычное для нас, советских, слово: «распад». Распадались идеология, прежние ценности, остатки веры, миф о едином советском народе, *система*, ложь и ущербность прежней советской жизни с ее несвободой становились все более очевидны. И я дал

новое, смелое название своему роману: «Распад». До распада Советского Союза оставалось еще года два или три.

Мог ли я в то время предвидеть распад СССР? Точно помню, что впервые уверенное утверждение о предстоящем распаде Союза я услышал от заместителя главного редактора газеты «Известия», который только недавно вернулся из США, весной-летом 1988 года. Сам же я пришел к этой мысли несколько позже. Давая название своему роману, я имел в виду распад духовный, распад скреп, который и предопределил все остальное. Но настоящим пророком я в то время не был. И – немного было пророков. Это оказался тот случай, когда лавина событий обогнала человеческое воображение. Историю делали немногие, часто – не лучшие и не самые достойные, нередко – случайные люди, все остальные, и я в том числе, служили массовкой на фоне растерянного, дезориентированного большинства. Иногда я даже думаю, что главным фактором российской истории, позволившим ей сорваться с мертвой точки, стали в первую очередь не люди, а то, что исчез леденящий сталинский страх. Пожалуй, именно в этом – в исчезновении страха – и заключалось главное достижение и одновременно главная слабость Горбачева. Но об этом – в более поздних романах.

Как бы там ни было, вал событий огромной исторической важности накрыл меня, всех нас, страну. Время литературы надолго закончилось, ибо время революций предназначено не для спокойного, вдумчивого чтения. И не для размеренной литературной работы. И потому нет ничего удивительного в том, что бурные дни конца восьмидесятых и начала девяностых, вихри истории закружили меня в своем непредсказуемом танце. Ибо есть время романтиков, сеятелей, идеалистов и есть время воров, собирающих чужой урожай. Происходил слом эпохи, начиналась другая, неизведанная новая жизнь и я, очертя голову, бросился в нее. В этой другой жизни я успел побывать кооператором, политиком, бизнесменом, риэлтором, возглавлял финансовую компанию, меня дважды похищали бандиты – будущее показало, что это был исключительно ценный писательский опыт, многократно заменивший Литинститут. Но в то время я, конечно же, об этом не думал.

По счастью, в конце восьмидесятых, прежде, чем броситься в другую жизнь, я успел дописать свой роман до конца, хотя он и требовал еще немалой шлифовки. Между тем, мне приходилось разрываться между медицинским кооперативом, литературой и политикой – сначала Партией Конституционных демократов, а потом Демократической, где я был координатором Московской организации, – предстояли выборы в Верховный Совет, впереди маячили другие проекты. Вот так и случилось, что я отложил почти готовый роман, как принято в таких случаях говорить, «в стол». Я полагал, что ненадолго, но оказалось, что на целых двадцать лет. Или на тридцать, как считать.

Мне и моему роману исключительно повезло. В бурные девяностые и в нелегкие двухтысячные каждый из нас не раз мог погибнуть или потеряться, мне несколько раз пришлось переезжать, а однажды даже случился пожар, но мы с моим романом благополучно все пережили, и году в 2008 или в 2009 я заново его открыл. Это была волнительная встреча, я будто впервые его узнавал. Это был мой роман, и в то же время не совсем, ведь я за эти годы немало изменился.

Много лет назад, в юности, я случайно прочел в учебнике психологии о Достоевском, что спустя десять лет он совершенно не мог вспомнить содержание написанного им романа. В то время я был очень удивлен, это казалось мне невероятным. Но вот, двадцать лет спустя, я тоже не помнил. Нет, мое забвение не было абсолютным. Я помнил имена своих главных героев, смутно – отдельные моменты, до некоторой степени, сюжет и фабулу, значительно четче – первоначальный материал, из которого я строил свой роман. Это, наверное, всегда так: писатель значительно лучше помнит то, что происходило в действительности, реальных героев или прототипов, чем то, что вышло из-под его пера. Реальное обычно запоминается лучше, чем выдуманное. И все же... В первый раз я читал будто не свой текст, словно увидел его впервые, я

почти физически ощущал как пелена медленно спадала с моих глаз и патина забвения стиралась с бегущих передо мной строк. Мне даже трудно сказать, что происходило вначале: узнавание текста заново, или оживала память. Лишь постепенно начал я вспоминать уже не сам текст, но что стояло за ним: мои давние мысли, образы, ассоциации, кто и почему послужил прототипом моих героев, какие-то обстоятельства (вот эту главу я писал на даче, а эту – тогда-то за своим столом, а вот это – образы из моего детства), все то, что можно назвать историей создания романа, а может и историей моей жизни. И не только моей, потому что каждая жизнь есть очень маленькая часть огромной мозаики, которая зовется историей страны и историей времени. Особенность положения писателя, как правило, состоит в том, что за своим текстом он видит нечто другое, какую-то иную жизнь, известную только ему и неизвестную читателю. Возможно, пишет историю своей жизни, даже если в произведении речь идет не о нем. Знает, что происходило в реальности, и что он домыслил. Словом, пишет художественную историю, которая, конечно же, отличается от настоящей, и в этом, очевидно, и заключается художественная литература. В соединении правды и вымысла, которые образуют особый сплав правды. Если это настоящая литература, а не эрзац.

Перечитав свой текст несколько раз, я решился дать ему оценку. В целом я был удовлетворен – мое творение снова стало мне родным, как вновь обретенный после многих лет разлуки ребенок, хотя я и обнаружил несколько слабых мест и излишних длиннот, недоработанных в восьмидесятые. Но полностью переработать мне пришлось только одно место: записки профессора Белогородского в третьей части.

В 2010—2011 годах я бегло отредактировал свой текст и... снова положил его в ящик. Для журналов мой роман был слишком велик и неподъемен, а обивать пороги издательств я не привык. К тому же я по-прежнему оставался чужим в литературе, а шансы у чужих близки к нулю. Чтобы стать известным писателем, недостаточно хорошо писать. Нужно потратить годы, чтобы установить связи, знакомства, просто примелькаться, создать биографию. В советское время литература представляла собой башню из слоновой кости, куда вход был приоткрыт только для избранных, для своих, куда лишь очень редко, чуть ли не чудом, проникали чужие. В новое время ворота вроде бы распахнулись, но – куда? В литературный предбанник, где вы можете годами участвовать в массовке, а дальше – те же мощные крепостные стены...

Однако оказалось, что все к лучшему. Что я еще не был готов к изданию большого романа. Даже не столько я, сколько критики и читатели. Потому что едва ли разумно издать книгу, чтобы она ушла, как вода в песок. В литературе, как и в науке «нет широкой столбовой дороги и только тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам».

Возможно, если бы я не отнес в журнал «Москва» свой новый, значительно меньший по объему роман «Эксперимент», который я написал за четыре месяца, я бы никогда не стал писателем. На сегодняшний день я печатаюсь уже немало лет, я написал и издал несколько романов и много рассказов и повестей и все равно я ощущаю себя Сизифом. И я не знаю более невестребованный труд, чем труд писателя.

Между тем, минуло тридцать лет с момента написания моего романа, и я больше не могу откладывать издание, потому что жизнь не бесконечна. А потому пришлось прервать работу над новым своим романом «Финансист», который я пишу уже много лет – о становлении российского капитализма и постсоветской России – и вернуться на тридцать лет назад.

Казалось, мой многострадальный роман давно был готов к изданию. Предварительно договорившись, я собирался отправить его в издательство «Вест-консалтинг», снова перечел и, неожиданно для себя, обнаружил немало мелких огрехов: где-то «торчали» лишние слова, где-то они повторялись, иногда, для усиления мелодичности или смысловой нагрузки, их нужно было поменять местами. Малые произведения я обычно редактирую сам, но для большого романа обязательно требуется редактор, потому что писатель устает от кропотливой работы,

рассеивается внимание, иногда просто не хватает физических сил. И, что называется, «замыливается» глаз. Так что, думаю, время, пока мой роман «лежал» в ожидании своего часа, было не совсем потрачено зря: мой глаз восстанавливался для новой редакции. К счастью, речь не шла о концептуальной переработке, здесь я с восьмидесятих ничего не менял.

Иногда я спрашиваю себя: что прежде всего объединяет мой первый роман с последующими, написанными не только много лет спустя, но практически в другой жизни? И вынужден дать себе ответ: неприятие. Российский капитализм представляется мне столь же отвратительным и лицемерным, как и российский социализм. У них общие родовые черты.

Но не опоздал ли я со своим романом? Не слишком ли долго я его выдерживал? И насколько актуален он сегодня? Люди моложе сорока уже не знают и не помнят прежнюю жизнь, а многие из тех, кто старше, о ней ностальгируют. И – идеализируют?! Мы очень многое забыли и, как всегда, когда общество растеряно, разочаровано, и не очень знает, куда идти, когда идеалы утеряны, а надежды не сбылись, люди слишком часто видят золотой век не в непредсказуемом будущем, а в полузабытом прошлом. Тем более, когда им, людям, усиленно стараются внушить, что мы всегда были правы и всегда шли по верному пути, бывали лишь мелкие, случайные ошибки (хотя в этом случае не ясно, зачем же мы сменили курс?). А потому я совсем не исключаю, что для кого-то мой роман может прозвучать диссонансом, тем более, что нынешнее время очень похоже на то, о котором я пишу. Мы вроде бы порвали с советским прошлым, и мы же в него возвращаемся. Хотя, скорее, не мы возвращаемся, а оно, это прошлое, костлявыми руками хватается нас. Могу сказать лишь одно: я писал правду, даже когда она еще была под запретом, писал от души и ни в чем не погрешил против истины, как я ее видел. В сущности, я не знаю, когда мой роман был актуальней: тридцать лет назад, когда мы были охвачены наивным энтузиазмом, или сейчас, когда мы несем на себе вериги нелегкого и противоречивого опыта. Судить об этом не мне, а моему читателю.

Распад. Часть первая

ГЛАВА 1

После разговора с заместителем генерального директора по научной работе Соковцевым у профессора Маевской подскочило давление. Евгения Марковна давно ожидала от него удара, и все-таки, когда Соковцев, не скрывая злорадство, протянул ей заявление Володи Веселова, – её любимый ученик просил перевести его в отдел к Соковцеву, – это оказалось для нее полной неожиданностью.

Неприятности преследовали Евгению Марковну несколько лет подряд, невидимое кольцо блокады с каждым месяцем сжималось всё теснее, и потому с самого начала этой бесконечно долгой, без солнца, с затяжными метелями и сугробами в человеческий рост, зимы, сменившейся лишь к середине апреля промозглым межсезоньем, она чувствовала себя на взводе.

Сейчас, на больничном, было самое время все осмыслить. Евгению Марковну слегка лихорадило, голова разламывалась на части, в ушах шумело, к горлу подкатывала тошнота, и ей больше всего хотелось заплакать. Но слёз не было, только безнадёжная серая тоска.

Не замечая царящий вокруг беспорядок, Евгения Марковна подошла к окну. Внизу, в сыром маслянистом тумане, расплывались блёклые пятна фонарей и, словно редкие черные муравьи, сползаясь к муравейникам метро по мокрым, скользким тротуарам, чавкая неочищенной кашей из мокрого грязного снега, устало брели люди. Неслись, скользили, скрипели тормозами у светофора автомобили, – к восьмому этажу доносился лишь однообразный привычный гул, – но сегодня он выводил из себя, усиливал чувство тошноты.

– Обман. Какой обман...

Евгения Марковна отошла от окна, механически остановилась перед зеркалом. С сожалением взглянула на грузную женщину, с бледным усталым лицом, набрякшими веками и расчёпанными седыми волосами, так не похожую на прежнюю, черноволосую, с лучистой улыбкой, ямочками на щеках, и пухлыми алыми губками. Тяжело вздохнула и побрела дальше, по бесконечному кругу уныло-пустой квартиры.

– Распад... Всё распадается. Ничего уже не изменить...

Хотелось забыться, не думать ни о чем, воспользовавшись незапланированной отсрочкой. А там – будь, что будет...

Евгения Марковна подошла к туалетному столику. Взяла в руки таблетку тазепама, подержала, отложила обратно. Села в кресло, закуталась в плед, закрыла глаза. Но забытье не наступало...

– О, боже, боже. Вот и всё. Конец. Старость. Никому больше не нужна...

Папа, папочка! Помнишь, как ты мечтал о счастье единственной своей доченьки. Мечтал, что она обязательно станет профессором. И она стала... Только счастья не нашла... Заблудилась, папа, твоя доченька...

Как давно всё это было. И нет ни папы, ни мамы, ни бабушки, ни даже девочки Жени, что когда-то в беретке и в ситцевом платице приехала покорять Москву... Вот вам и новая Софья Ковалевская! Ничего не осталось... Даже фотографии вместе с папой и мамой пропали в войну...

Одно лишь честолюбие осталось, выросло из той детской мечты. Разрослось за эти годы и уже не вмещается в груди, тяжело вертится и душит, сжимает клещами сердце. Это от него давление. От честолюбия и обиды...

Нет, так её надолго не хватит. Износилась. Больше не выдерживают нервы. Вот и гипертонию нажила... Ну что ж, можно и уйти, пенсия в кармане... Чудновский и Соковцев, конечно,

будут рады. Только рано... Рано им радоваться... Уж что-то, а нервы им помотать она сумеет. Припомнит Чудновскому и его диссертацию, и кто за него монографии писал, и как целые отделы на него работают... Тоже мне, большой учёный... Обыкновенный паразит, совбюр, эксплуататор похуже капиталиста... Да и мало ли, что ещё можно написать...

В этом, пожалуй, даже что-то есть. Отступить на безопасную позицию и нанести удар. «Зуб за зуб, око за око», – Евгения Марковна глухо, злорадно засмеялась. Смех разнёсся в холодной пустоте квартиры и лопнул, будто пустая скорлупа. Сердце снова сжалось. Евгения Марковна стиснула пальцами виски. Холод собственных рук отрезвил её.

– Нет, так нельзя. Надо уйти красиво...

Минуту она сидела, не шевелясь, всё ещё чувствуя стыд от собственных мыслей, потом зло, с сарказмом, словно издеваясь над самой собой, произнесла вслух:

– Господи, господа, никуда я не уйду. Никуда ведь уйти... Ни детей, ни внуков. Никого...

Всего-то и было в жизни, что одна мечта... Честолюбивая мечта...

Но, чтобы эту мечту осуществить, тут лозунгов одних, обещаний и авансов мало. Тут идея была нужна. Теория. Мечту, как невесту, облечь в самые красивые, самые научные одежды.

А где эту идею взять? Вот тут, пожалуй, и не обманывалась – знала всегда, ну уж, догадывалась, по крайней мере, что сама не умеет генерировать. Её сила, её достоинство, состояли в ином – взяв чужую идею, умела довести её до блеска, отшлифовать до неузнаваемости, переиначить, приспособить, превратить в знамя. Словом, талантливый, пробивной интерпретатор.

Вот и ухватила свою идею. Идея, пожалуй, в воздухе носилась. Теперь и не вспомнить первоисточник. Да и не идея там была – гипотеза, а идея – не там, не вовне, а внутри неё, в сердце. Её идея. Её теория. Не та мать, что родила, а та, что взлелеяла. А дальше – трудолюбие, фанатизм, талант, воля. Путь, как у всякой догмы.

Да, сколько ни ищи в истории, все лжетеории рождаются одинаково. В разгорячённо-завистливых кабинетных умах, априори, из мёртвой схоластики, которую по ошибке иногда называют логикой... Да что логика... Логика в лучшем случае три варианта рассчитать позволит, а их у жизни – тысячи... Кто же это сказал? Достоевский? Воля... Вот что их рождает – воля, их навоз – честолюбие и зависть... Волюнтаризм, перемешанный с фанатизмом, а значит – непременно костры инквизиции... Наш – не наш, сторонник – враг... Диалектика кулака...

А дальше, как у всякой догмы. Сначала – сама уверовала, потом заразила других. Вера – вещь заразная... Впрочем, не заразила, не убедила, нет. Заставила делать вид... Не трагедия, только фарс...

Да, разница всегда в масштабе... Чем меньше догма, тем меньше жертв. Микромодель: её отдел – микромодель, заблуждения – тоже... И институт – микромодель...

Самое страшное – ошибиться в идее. А потом, как в шахматах, форсированный вариант... Цугцванг...¹

Николай, правда, с самого начала морщился:

– Твой метод в корне порочен, Женя. У природы свой язык, и мы, собирая факт за фактом, должны его расшифровывать, как расшифровывают древние письмена, а ты, не считаясь с фактами, выхватив из общего их числа несколько удобных, строишь собственную теорию априори, без всякого эксперимента, словно можно закономерности природы подменить своей логикой, пусть даже блестящей. И новые факты ты будешь не осмысливать, а лишь вставлять в ячейки придуманной теории. Но это и есть чистой воды волюнтаризм и догматизм, если хочешь, вариант лысенковщины. Логично – не значит верно. У эволюции свои законы, неразумно через них перепрыгивать...

¹ Цугцванг – положение в шахматах, где каждый последующий ход только ухудшает позицию.

Но он, Николай, всегда был скептиком. Философом... и при том завистливым...

Но она-то верила... Свято, без сомнений, как верила когда-то в ученье классиков.

И другие верили... Нет, нет, что же я говорю. Они – не верили, вот в чём ужас! Они только исполняли мою волю. Иначе почему же они ушли? Лена Анисимова, например. Чуть ли не на следующий день, после защиты...

Дрожь, как в лихорадке, пробежала по телу Евгении Марковны, острые стрелы вонзились в мозг, но ей сейчас было не до боли. Взгляд её, пронзая пространство и время, устремляется назад, в прошлое, в полутёмную тесноту рабочего кабинета, натывается на груды папок, на тяжёлые шторы на низеньком окне, на заваленный бумагами стол. В кабинете почти ничего с той поры не изменилось, только бумаг стало еще больше – и деталь за деталью, подробность за подробностью, вспоминает Евгения Марковна тот давний разговор. Пятнадцать лет прошло, но она по-прежнему слышит каждое слово, узнаёт интонации, будто это случилось вчера.

– Что же вы, Лена? – в голосе Евгении Марковны звучат удивление и упрёк. – Вы сделали прекрасную диссертацию. За вас единогласно проголосовали. И сразу после защиты... Мы ведь собирались взяться за монографию. Ещё никто до вас не связывал аритмии с потенциалами ионов. Никто. Вы – первая.

– Спасибо, Евгения Марковна, за всё. Но я устала от Сизифова труда. Мы сейчас еще дальше от завершения работы, чем в самом начале. Тогда хоть у нас была вера... и еще не было путаницы...

– А сейчас, значит, нет веры?

– Нет. Не знаю, как вы, а я даже не уверена, что записывала потенциалы ионов, а не артефакты.

– Очень странно, Лена, почему тогда в ваших артефактах прослеживается такая строгая и логичная закономерность.

– Та самая, которая была нужна вам, Евгения Марковна.

– Что же, если вы так считаете, Лена, может быть, вам и в самом деле лучше уйти.

Неужели уже тогда? Но ведь как мы работали, с каким энтузиазмом – и днем, и ночью... Нас так и называли – стахановцы... Неужели только из-за диссертаций?..

Евгения Марковна тяжело поднялась, медленно прошла по спальне. Снова подошла к окну, словно от этого ей могло стать легче. Но туман стал еще гуще, непроницаемой грязноватой ватой укутав землю, и за окнами висела лишь холодная, сырая мгла, нескончаемая весна-осень, растворившая в себе блеклые пятна фонарей.

– Какая тоска. Будто конец света, – жуть одиночества в задушенном туманом, разьединённом, фантазмагорическом городе, охватила Евгению Марковну. Она снова закуталась в плед, опустила в кресло и закрыла глаза, словно единственная спасаемая в тоскливом ковчеге трёхкомнатной квартиры. Настоящего больше не существовало. Ковчег уносило в прошлое...

Когда же она впервые поняла, что поклоняется не истине, а идолу? В тот мрачный, дождливый день, или ещё раньше? Ливень, не переставая, хлестал по истерзанной, вспученной земле с полдня, швырялся в окна обломанными ветками, гремел гром, электрическими скачками исчерчивали чёрное небо молнии, а в лаборатории было непривычно тихо. Все давно разошлись, только у Евгении Марковны не оказалось с собой зонта, да и спешить ей было некуда, и она просматривала данные последних экспериментов. И чем больше она размышляла над ними, тем сильнее её охватывало отчаяние. Это были совсем не те результаты, которых она ждала. Они лишь окончательно всё запутывали, а иные даже прямо противоречили её теории. И вдруг, словно вспышка молнии высветила всё, на мгновение она прозрела, и очень ясно увидела, что теория её многое не объясняет и, сколько ни упорствуй, не объяснит. Тут дол-

жен присутствовать и другой механизм – re-entry², тот самый, который она предала анафеме, и что оба механизма, эктопии и re-entry, не только не исключают, но скорее дополняют друг друга... Значит, возможна конвергенция... Но эта мысль была выше её сил. Она испугалась и запретила себе об этом думать. Признать re-entry – означало публичное покаяние, но все мосты были давно сожжены...

А зачем, зачем сожжены? Зачем, спрашивается, было ей громить теорию Бессеменова, противопоставлять один механизм другому, обвинять его в оппортунизме. Нет, здравым смыслом это не объяснишь. Сознайся уж честно, Женечка, тут было своего рода сумасшествие, ослепление. Впрочем, и у сумасшествия – свои причины... Увы, правду говорил Ройтбак, что это – от тех времен. От их дикой, варварской нетерпимости...

Вот ведь как... Ты их всех ненавидела, этих черносотенцев-погромщиков, и генетикам сочувствовала, и кибернетикам, и твердо стояла за прогресс, за терпимость и демократию, о плюрализме рассуждала, и на МХАТовском «Суде чести»³ готова была провалиться сквозь землю, и не запятналась ни разу – мало кому это удалось тогда, ведь если не с нами, то против нас – а вот, заразилась тоже... Это у нас в крови, целые поколения отравлены... Да и как не отравиться, если в десять лет иглками глаза выкалывали, прежде чем замалевать чернилами. Целые учебники врагов народа... Вот и вошло в привычку клеймить и громить.

Знала же, всегда знала, что зло порождает только зло, несправедливость – только несправедливость. И все-таки громила... Ну да, потому и громила, что не хватало аргументов. И тогда, вместо аргументов, находились ярлыки...

А дальше, как со всякой лжетеорией: кризис веры, распад, а надо платить по векселям. Вот тут и начинается реакция, чтобы замедлить распад... Застой... *Застой и распад* всегда начинаются изнутри...

Оттого сейчас и торжествует Соковцев – ему осталось только подрубить насквозь прогнившее дерево...

Что же делать? Уже ничего не изменить. Ничего... Слишком поздно начинать сначала...

О, господи! Ведь не может же она уйти. Куда? Зачем? Для неё весь смысл в науке...

Нет, ни за что! – Евгения Марковна до боли сдавила дрожащими руками виски, и почувствовала, как слёзы катятся по щекам. Совсем как в детстве: тяжёлые, тёплые, солёные.

– Вот так и умру когда-нибудь, и никто не узнает. Надо расслабиться и забыться...

Она долго сидела в кресле, не шевелясь, с закрытыми глазами. Головная боль медленно отступала, уменьшаясь в размере, как шагрeneвая кожа, пока, наконец, осталась только в затылке. Но забвение по-прежнему не приходило. Профессор Маевская снова провалилась в прошлое...

² re-entry (англ.) – круговое движение волны возбуждения; проявляется при различных нарушениях ритма сердца.

³ «Суд чести» – спектакль во МХАТе, где инсценировался суд над учеными, объявленными антипатриотами и космополитами. Спектакль этот, несомненно, самая мрачная страница в истории МХАТа, полный разрыв с традициями, заложенными его основателями. В основу спектакля положен реальный «Суд чести» над Н. Г. Клюевой и Г.И. Роскиным, состоявшийся в 1947 г. в театре Эстрады (см. подробное примечание к стр.118).

ГЛАВА 2

Андрей Платонович Бессеменов – шуплый, седой, с архаичной бородкой и бакенбардами, выдававшими в нём чужака, человека из иного времени, иных принципов и иной культуры, – сидел за столом, на котором в аккуратные стопки были разложены оттиски статей на английском, французском и немецком, так, что Евгения Марковна, владевшая только английским, да и то кое-как, совсем не к месту почувствовала зависть, и что-то вроде тайного комплекса неполноценности. Подняв на лоб очки, Андрей Платонович внимательно смотрел на нее. Двадцать лет прошло с того дня, но по-прежнему всё так же ясно видит Евгения Марковна его по-детски ясные пронизательные глаза, мешотчатые веки и руки Андрея Платоновича – маленькие, подвижные, со странно узкими кистями и тонкими пальцами, покрытые неожиданно густыми, светлыми волосами. Руки эти, пока говорила Евгения Марковна, все время находились в движении: мяли, скручивали, и раскручивали шарик из белой глянцевой бумаги. Ещё один такой же шарик лежал рядом, на столе, приковывая внимание Евгении Марковны и мешая ей сосредоточиться, и оттого, возможно, она говорила слегка сумбурно...

Андрей Платонович, известнейший специалист в области электрофизиологии и электрокардиографии, больше сорока лет занимался аритмиями. Когда-то, до войны еще, Евгения Марковна училась по учебнику, в котором он состоял одним из соавторов. Позднее, в аспирантуре, штудировала его атлас, статьи, и знаменитую монографию, принёсшую Андрею Платоновичу международное признание, и несколько раз, пока профессор Бессеменов преподавал в университете, бывала на его лекциях для аспирантов. Лекции эти представляли собой целое научное событие, школу, поважнее, чем иные симпозиумы и конференции – и их, наряду с аспирантами и студентами старших курсов, посещали научные сотрудники и преподаватели из многих московских институтов, и даже из других городов.

Андрей Платонович умел владеть аудиторией. Говоря, он словно парил в воздухе, становился выше ростом, увлекался, размахивал руками, иногда, забывшись, уходил в сторону. Но важно было не то, как он говорил и увлекался, не его странный, по-мальчишески высокий голос. Важны были его мысли, его эрудиция, аргументация, логика – он представлял настоящим энциклопедистом, одинаково свободно владея физиологией, генетикой, биохимией, эволюционной биологией, и, только зарождавшейся в те годы биофизикой. И построение лекций Андрея Платоновича тоже было необычным. Он в совершенстве обладал искусством синтеза, излагая вначале отдельные, казалось бы, не связанные между собой факты, и вдруг, незаметно для глаза, с необыкновенным изяществом созидал из них гармоническое целое, некое светлое здание, в котором не существовало перегородок между науками. «Природа и организм всегда цельны, а расчленение и анализ – лишь способ исследования», – любил он повторять и как-то даже прочел блестящую лекцию о Вирхове⁴. Андрей Платонович вообще увлекался историей науки – в этом ему не было равных. К тому же, за его научной эрудицией стояла еще и огромная культура – она проявлялась не только в речи и в его интеллигентной мягкости, но и в редких, однако чрезвычайно точных и глубоких ассоциациях, и примерах из литературы, живописи, музыки, философии. К последней он имел особое пристрастие: Гегеля и Канта, особенно, же Бюхнера⁵, цитировал наизусть целыми абзацами. Словом, это был гигантский ум, за которым угадывались блестящее образование, широта и глубина взглядов.

⁴ Вирхов Рудольф (1821—1902) – немецкий учёный-патолог, автор учения о клеточной патологии; согласно Вирхову материальным субстратом болезни является клетка – в противовес учению о целостном организме.

⁵ Бюхнер Людвиг (1824—1899) – немецкий естествоиспытатель, врач и философ, принадлежавший к «вульгарному» материализму, автор труда «Сила и материя». В течение жизни Бюхнер проделал некоторую эволюцию в направлении от «вульгарного» материализма к диалектическому.

Но все это происходило ещё до войны и в первые послевоенные годы, до Павловской⁶ сессии. Потом же вскоре Андрей Платонович надолго исчез, и снова появился на научном горизонте лишь лет через пять. Но уже не в университете, а в скромном НИИ второй категории.

Неприятности Андрея Платоновича пришлось на тот период, говоря о котором потом всегда вспоминали генетиков и кибернетиков, но это, увы, была только часть правды. На самом деле разгрому подвергалась вся наука, даже шире – вся интеллектуальная жизнь страны: громили и физиологов, и химиков⁷, и врачей⁸, и филологов⁹, и писателей¹⁰, и даже далеких от идеологического фронта композиторов¹¹. Замахивались и на физиков, появились ругательные статьи о теории относительности, но физиков сумел отстоять Курчатов.

В этой вакханалии погромов, арестов и репрессий, вновь повторявших тридцать седьмой год, конечно, заключались паранойя, порождение болезненно-извращенной, подозрительной личности Сталина. Но, увы, и закономерность тоже, историческая неизбежность, в разных странах словно эхо, повторившаяся – прямой результат непросвещенного тоталитаризма, психологии осаждённого лагеря, нетерпимости и фанатизма, родившихся в прошлой борьбе, то есть, в сущности, новой религии, в которой Вождь занял место Бога. Но раз Бог, непогрешимый и всезнающий, непререкаемый жрец и толкователь теории, которая не может ошибаться, значит, истина – больше не плод познания, не объективная реальность, а всего лишь эманация Вождя.

Но, даже уверовав в свою избранность и непогрешимость, Вождь-тиран, как всякий лжепророк, испытывает втайне комплексы неполноценности, страх, что может быть разоблачён, и потому неизбежно ненавидит интеллигенцию, ненавидит всякую мысль, потому что из мысли рождается инакомыслие. И, чтоб уничтожить инакомыслие, он уничтожает самую мысль, уничтожает и запугивает интеллигенцию, чтобы народ, лишённый мыслей, оболваненный, усвоивший только догмы, легче было заставить слепо верить и поклоняться идолу.

⁶ Павловская сессия – объединенная сессия Академии наук и Академии медицинских наук СССР (1950), посвященная наследию великого русского физиолога И.П.Павлова. На сессии ряд видных учёных; академики Л.А.Орбели, И.С.Бериташвили (Беритов), профессор П.К.Анохин и другие были объявлены противниками павловской физиологии, обвинялись в субъективизме и идеализме. После сессии проводилась широкая чистка кадров физиологов.

⁷ Достаточно упомянуть, что в 1947—1948 гг. была объявлена буржуазной лженаукой квантовая механика и вытекавшая из неё теория резонанса, развивавшаяся Л. Полингом, получившим за эти исследования Нобелевскую премию. В СССР аналогичные взгляды развивал профессор Я.К.Сыркин. Его научная школа была разгромлена, а сам Н.К.Сыркин и его ученики подвергнуты гонениям.

⁸ В первую очередь речь идёт о «деле врачей». По обвинению во вредительстве, то есть преднамеренном неправильном лечении, повлекшем за собой смерть А.А.Жданова и А.С.Щербакова, а также в попытках вывести из строя ряд военных руководителей Советского Союза, в январе 1953 года была арестована группа наиболее видных советских клиницистов. Согласно официальной версии, арестованные были связаны с международной еврейской организацией Джоинт (благотворительная организация, в частности оказывала помощь советским евреям в создании еврейских колхозов в Украине и Северном Крыму, строительстве в Еврейской Автономной области, продовольственную помощь во время Великой отечественной войны и т.д.) и с английской разведкой. Все обвиняемые были реабилитированы вскоре после смерти Сталина. Следует отметить, что это не единственный случай обвинения врачей. Ещё до войны были репрессированы профессора Плетнев, Левин и Казаков, которым инкриминировали, что они «по заданию врагов Советского Союза умертвили путём неправильного лечения А.М.Горького, В.В.Куйбышева, В.Р.Менжинского». «Дело врачей» использовалось для нагнетания атмосферы антисемитизма.

⁹ В языкознании тоталитарные, административные методы вмешательства в науку вначале привели к монополии академика Н.Я.Марра и его последователей в учении о языке, а затем, после дискуссии 1950 года к огульной критике (посмертно) Н.Я.Марра и разгрому его школы.

¹⁰ Наиболее яркий пример – постановление ЦК ВКП (б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» от 14/VIII-46 г. В постановлении ошельмованы А. Ахматова и М. Зощенко; 4/IX-46 г. Президиумом правления Союза Писателей СССР А. Ахматова и М. Зощенко исключены из организации. Журнал «Ленинград» был закрыт. Одновременно подверглись гонениям и многие другие писатели.

¹¹ Достаточно упомянуть постановление ЦК ВКП (б) об опере «Великая дружба» В. Мурадели. В этом постановлении ведущие советские композиторы Д. Шостакович, С. Прокофьев, Л. Хачатурян, В. Шебалин, Н. Мясковский и другие причислены к «формалистическому, антинародному направлению в музыке». В последующие годы указанные композиторы подвергались гонениям, а их произведения не исполнялись.

Конечно, чтобы такое осуществить, недостаточно одной преступной воли. Тут аппарат нужен, должны быть убраны все противовесы. Но в том-то и состояла историческая закономерность, что все противовесы, все сдерживающие начала были убраны, и аппарат такой существовал. И лишь одно – экономические неудачи, экономическая неэффективность системы вождизма, могли положить ей предел.

А потому неудивительно, что в то время, в той обстановке мракобесия и погромов, после Павловской сессии, профессор Бессеменов, старый интеллигент, к тому же, стажировавшийся когда-то в Германии, и не скрывавший своей симпатии к заграничным учёным – он и о Норберте Винере¹² говорил не раз, и ссылался на мало тогда известных у нас Ходжкина, Хаксли и Катца¹³, и на только входившего в моду на Западе Селье¹⁴, которого у нас еще и в шестидесятые годы глупо поругивали, да плюс ко всему человек с принципами, не способный перестраиваться по каждой газетной передовой, неизбежно оказался персоной нон грата. Его громили в печати, на собраниях и конференциях, вначале довольно нерешительно, как бы между прочим, среди других упоминали и его имя, словно давая возможность оправдаться и показаться. Но он оказался не из того теста, закваски старой, дореволюционной – не стал ни оправдываться, ни каяться. Совсем напротив, с упрямым благородством старого русского интеллигента, для которого важнее всего в жизни честь и принципы, бросил вызов не только хулителям, но даже времени своему, и той беспощадной, неумолимой силе, что стояла у новых черносотенцев за спиной – носил на Лубянку передачи для товарища, с которым давно не был близок, разве что изредка, раз или два в году, играл партию в шахматы в Доме ученых. Не только в товарище тут заключалось дело, а в принципах и в долге, а это для Андрея Платоновича было превыше всего. Да и в самом его презрительном, до высокомерия, на английский манер, молчании – он оставался одинаково глух и к нападкам недругов, и к увещаниям друзей, и так и не выступил ни разу – в этом тоже заключался вызов. И тогда его стали ругать злее, решительнее, напористее. Обвиняли, как и других, в низкопоклонстве перед Западом, в пренебрежении к идеям великого Павлова, в игнорировании учения об условных рефлексах при изучении природы аритмий, и даже, разъярённые его непокорным молчанием, стали распускать слухи, будто Андрей Платонович присвоил работы своего великого учителя. (Андрей Платонович почти полтора десятка лет проработал в лаборатории Ивана Петровича Павлова). Вот тут-то, на очередной сессии, среди грома ложных обвинений и шепота притворного раскаяния, среди сведения счетов, страха и злобного торжества неправды, Андрей Платонович, наконец, выступил, да так, словно нарочно петлю на шею своей затягивал. Заявил, что учение Павлова есть скорее начало, промежуточный этап, чем высшая и последняя ступень физиологии высшей нервной деятельности, лишь открытие и тщательнейшее феноменологическое описание, но никак не окончательная расшифровка феномена условных рефлексов, и что теперь самое время не бить в литавры, а изучать, опираясь на новейшую технику, клеточные механизмы высшей нервной деятельности, и что тут мы серьёзно отстали, и потому не вредно бы присмотреться к работам учёных Запада. И закончил уж совсем не ко времени:

– Иван Петрович был так велик, что сегодня многочисленные научные ничтожества вольготно чувствуют себя под его шапкой. Они воображают, будто наука делается голосовыми связками. Кто громче кричит и предаёт анафеме, тот и прав. Так вот я, старый русский учёный и ученик Ивана Петровича, утверждаю, что академик Павлов никогда не одобрил бы эту инквизиторскую кампанию, ибо истина меньше всего нуждается в шельмовании или славословии. Наука и будущее этого не простят! – и, не замечая образовавшуюся вокруг него трусли-

¹² Винер Н. – американский учёный, основоположник кибернетики, лауреат Нобелевской премии.

¹³ Ходжкин А., Хаксли Э. – английские физиологи, лауреаты Нобелевской премии; Катц Б. – английский биофизик, лауреат Нобелевской премии.

¹⁴ Селье Г. – канадский физиолог, лауреат Нобелевской премии.

вую пустоту, неторопливо отправился в гардероб, не пожелав даже присутствовать на сессии до конца.

Эту свою речь Андрей Платонович считал своим завещанием. На следующий день, не дожидаясь, пока его уволят, он, как когда-то его учитель, подал прошение об отставке с подробным изложением причин. Несколько лет, каждый день ожидая ареста, он нигде не работал, только размышлял целыми днями и читал журналы, но мысли физиолога, как известно, нуждаются в экспериментальной проверке, так что можно считать, что годы эти были потеряны для науки. Но арест не состоялся – то ли из-за почтенных лет Андрею Платоновичу предоставили возможность умереть дома, то ли потому, что он был хорошо известен на Западе. А потом, к счастью, умер Сталин.

Горизонт начинал слегка проясняться и, года через полтора после торжественных похорон, Андрей Платонович, всё ещё полный сил, устроился руководителем группы в скромном, ничем не примечательном НИИ. Там теперь он и работал, имея под своим руководством лишь трех научных сотрудников, одного аспиранта, да еще бессменную свою помощницу Галину Ивановну, завхоза и секретаршу в одном лице. Правда, коллектив оказался на редкость дружный, сотрудники – старательными и способными, так что маленькая группа Андрея Платоновича стояла иного большого отдела. И все-таки дело, которому он посвятил полжизни, продвигалось вперед очень медленно. К тому же, в последние годы и у нас, и за рубежом были получены многочисленные новые факты, которые с позиции теории профессора Бессеменова нельзя было объяснить. Андрею Платоновичу становилось ясно, что его теория нуждается в существенном пересмотре и дополнении, а для этого нужны были новые эксперименты. Много экспериментов. А у него – лишь маленькая группа.

Теперь Андрей Платонович нередко спрашивал себя: а может, стоило тогда уступить, выступить с самокритикой, покаяться, как каялись другие, глядишь, его оставили бы в покое. Ведь несколько лет, отнятых у науки, и потерянный навсегда отдел, им самим ещё до войны созданный – такова была цена за один, единственный, незабвенный миг свободы, когда уже и страх прошел, и жизнь как будто кончилась, а только звон в ушах, колокола и вечность, и он, как на краю обрыва, на трибуне, и головою вниз летит, и знает, что разбиться должен, но парит в восторге. Он – Человек! Не тварь дрожащая! Не раб!

Всю юность эту храбрость он в себе вынашивал, Брутом себя воображал, Бакуниным и Кропоткиным, о баррикадах мечтал, хоть и был слаб грудью. И февраль семнадцатого – зарю свободы, как восторженный мальчишка, принял: голова кружилась, рукоплескал и плакал, незнакомых целовал, ведь все – *товарищи, Равенство и Братство*, и сам, как одержимый, на столб взобрался, пел «Марсельезу». И это было, сидело в нём все годы страха, и вот опять, семидесятилетним, всё тот же мальчик с гвоздикой в петлице, все тот же Брут, Бакунин и Кропоткин, тираноборец с молодых ногтей. Тут рассудок не судья, расчёт не годен, и те, кто осуждали и жалели, не могли понять его порыв, быть может, даже считали сумасшедшим – те просто не изжили рабство. А ведь многие – фронтовики, пуль не боялись, смерти заглядывали в лицо. Но он не жалел никогда, даже от каждого стука вздрагивая, а если и жалел, и стыдился, так только страха, не до конца избытого. Тут была натура, второе «Я», десятилетиями молчавшее, но живое, кровь отца-народовольца, и потому, если бы всё повторилось снова, и существовал выбор, он снова поступил бы точно так же. Так Андрей Платонович отвечал себе, и так он чувствовал.

И теперь ему оставалось лишь одно – работать, успеть, что ещё возможно, искупить трудом потерянные годы. И он работал, и торопился, и гнал себя, забыв о здоровье, и о возрасте. Это был его последний долг, последнее, что связывало его с жизнью.

Разговор с Андреем Платоновичем происходил в самом начале шестидесятого года и имел свою предысторию. Директор «Института Сердца», Евгений Александрович Постни-

ков, благосклонно отнёсся к идее Евгении Марковны, тогда тридцатидевятилетней новоиспеченной докторицы наук, о создании новой лаборатории. Ему импонировали и эта молодая, красивая, уверенная в себе женщина, и её оригинальная новая концепция. Институт был относительно молод, возник вскоре после войны, но среди профессоров преобладали люди почтенного возраста, с громкими именами и многочисленными заслугами, однако, увы, лучшие их годы остались далеко позади. И потому Постников надеялся, что молодая, энергичная и честолюбивая Евгения Марковна, к тому же ученица и протеже быстро набравшего силу члена-корреспондента Головина, со своими смелыми планами и оригинальными идеями сможет внести в застойную жизнь Института освежающую струю. При этом, и самому Евгению Александровичу приятно было оказаться причастным к рождению и утверждению новой концепции аритмий, так как он, хоть и считался крупным клиницистом, и человеком, несомненно, незаурядного ума, вовсе не был лишён тщеславия, и весьма распространенной в научной среде жадности – обожал, когда под статьями и монографиями, выходящими из его Института, первой стояла его собственная фамилия. Но, как клиницист, Евгений Александрович чувствовал себя не слишком уютно в заумных спорах экспериментаторов: мембранная теория, лежавшая в их основе, была для него внове, да, честно говоря, не очень-то ему и требовалась – лечение, независимо от патогенеза разных аритмий, оставалось одним и тем же. И потому Постников вовсе не стремился возлагать на себя всю ответственность за создание новой лаборатории. Он твердо обещал добиться положительного решения в Академии лишь при обязательном условии: профессор Бессеменов, признанный авторитет в данной области, должен был одобрить планы Евгении Марковны.

Но Евгении Марковне даже страшно было подумать о разговоре с Андреем Платоновичем. Дело заключалось не только в том, что её гипотеза противоречила теории профессора Бессеменова. Пожалуй, сколько бы она ни храбрилась и не убеждала себя, что именно Андрей Платонович заблудился в море фактов, а она, непредвзято и прозорливо взглянув на проблему со стороны, сразу отыскала единственно верную разгадку, в глубине души Евгения Марковна испытывала страх и тайные сомнения, так что иногда даже сама себе казалась авантюристкой. Вот из-за этих комплексов ей и не хотелось обращаться за помощью к Бессеменову, и она невольно испытывала к нему неприязнь.

– Нет, пусть выступит кто угодно другой, только не Бессеменов. Он всё погубит, – голос у Евгении Марковны даже прервался от испуга. И тут же, чтобы скрыть причину своего замешательства, добавила торопливо, – Моя гипотеза противоречит его теории.

Евгений Александрович улыбнулся. Так улыбаются всевидящие мудрые взрослые детским страхам. И с высоты своей всевидящей, самоуверенной мудрости, к счастью для Евгении Марковны, даже не задумался о причине её испуга. Он продолжал шагать по кабинету, меряя его упругими, лёгкими шагами, чуть наклонив вперёд породистую, лобастую голову с глубокими залысинами, и пронизательными, серыми глазами.

– А вы постарайтесь представить дело так, будто вы – его союзник, а не соперник. – Евгений Александрович улыбнулся ходу своей мысли, наслаждаясь её утонченной расчетливостью, явно недоступной Евгении Марковне, – Бессеменов – порядочнейший человек. На этом и играйте. Он не позволит себе вставлять палки в колёса сопернику, тем более даме. Рыцарство не позволит. Напротив, сочтёт своим долгом помочь. Только постарайтесь прежде времени не затевать споров. Ведь никто, кроме нас с вами о вашей гипотезе пока не подозревает, не так ли? И потом, всё, что вы мне тут говорили, всё это интересно и логично, не спорю, но преждевременно. У каждой идеи есть свой звёздный час. Высказать её раньше положенного времени, значит, иной раз просто загубить.

Он замолчал, весело взглянул на растерянно-несогласное лицо Евгении Марковны и вдруг по-мальчишески, белозубо рассмеялся:

– Учитесь быть дипломатом.

Увы, дипломатом Евгения Марковна оказалась никчемным. Это она сейчас, двадцать лет спустя, превосходно понимает, и, снисходительно улыбаясь своим воспоминаниям, все еще испытывает неловкость. Но, придя к Бессеменову, она сразу забыла все предостережения Постникова, и торопливо, будто бес толкал её, и тянул за язык, стала излагать ему свою гипотезу. Только закончив свою речь, она опомнилась, от злости на себя прикусила язык, торопливо облизала пересохшие от волнения губы, и сидела напряжённая, неестественно выпрямившись, с отчаянным страхом ожидая ответ Андрея Платоновича.

Впрочем, что теперь корить себя. Это она сейчас забыла, а тогда – из-за комплексов этих самых (вот где начало, вот!) – в её поведении имелась своя логика. Болезненная, правда, но имелась. Ей нужно было, нестерпимо нужно было знать, что думает о её гипотезе Бессеменов. Ведь она, хоть и воображала себя умнее, а всё-таки верила ему, его правоты боялась. Вот и решилась испытать судьбу. Пожалуй, остереги он тогда, разбей все её аргументы, и она бы остановилась, послушалась Николая, ведь ещё не поздно было. Ничего ещё не было предопределено.

Неужели этого она в то время ждала? Неужели Рубикона своего страшилась, судьбу испытывая тайно? А может она всё это сейчас выдумала, самооправдание ища, а тогда одна самолюблённость? Как ей хочется, так и быть должно! Волюнтаризм проклятый!

Но отчего Бессеменов не стал спорить?

Похоже, он её даже не видел толком. Не почувствовал её напряжение. Не на неё смотрел – заглядывал внутрь самого себя, потому что в нём тоже гнездились сомнения. Пожалуй, то, о чём говорила ему Евгения Марковна, не было для него неожиданным. К тому времени он не сомневался, что его теория нуждается в серьёзнейшей доработке. Несомненным становилось, что при некоторых видах ритмов должен присутствовать механизм гетеротопной автоматии, который он раньше отрицал. Но нельзя же всё свести к этому механизму. У естествоиспытателя каждое слово нуждается в экспериментальном подтверждении. Пожалуй, это даже хорошо, что Евгения Марковна хочет пойти иным путём, связать электрические процессы с метаболизмом. В этом несомненно что-то есть. Её желание естественно. Такова жизнь. Никому ведь не дано постичь истину в последней инстанции.

Но Андрея Платоновича смущало, что у Маевской не было серьёзных данных, одни только предположения и допущения. А ведь всякое обобщение должно строиться на фактах. В конце концов, человечество столько раз видело, как учения, казавшиеся гениальными, терпели фиаско при первом же столкновении с реальной жизнью. В природе и обществе происходят свои процессы, и они много глубже и разнообразнее, чем может аргюи предположить самый замечательный человеческий разум. Если теория предсуществует, слишком велик соблазн подгонять под нее, выбирать только нужные факты. А ведь задача исследователя – познавать законы природы, а не приписывать ей свои. «Формой развития естествознания является гипотеза», – говорил Энгельс¹⁵. Однако, заостенев раньше времени, превратившись в теорию, в официальную доктрину, вчерашняя гипотеза тотчас превращается в тормоз.

Однако, вряд ли стоило говорить сейчас об этом Евгении Марковне. Она могла подумать, что Андрей Платонович хочет прочесть ей нотацию. А у него и без того слишком много дел.

Профессор Бессеменов невольно начинал сердиться.

– М-да, – протянул он скрипучим и тонким голосом, опустив очки на переносицу, и нервно барабанил тонкими пальцами по столу. – Идея у вас прелюбопытная. Только что за ней? Пшик. Где у вас доказательства? – Андрей Платонович даже бородой затряс от возмущения, и глаза его, по-детски голубые, сердито сверкнули из-за толстых стекол. – Теория должна опираться на факты. Иначе это не теория, а химера.

¹⁵ Ф. Энгельс. «Диалектика природы», цитирование по смыслу.

«Напрасно я с ним разоткровенничалась», с неприязнью подумала Евгения Марковна. Но раскисать сейчас ей было нельзя. Положение требовалось спасать. И она поступила, как всегда поступала в подобных случаях – неожиданно весело рассмеялась и, уже сквозь смех, проговорила:

– Андрей Платонович, вы ведь вместе с ушатом воды хотите выплеснуть и ребёнка. А ведь еще не знаете, что из него вырастет.

Профессор Бессеменов растерянно посмотрел на Евгению Марковну. Он вообще не очень умел разговаривать с женщинами. К тому же, Маевская, вероятно, в чем-то была права. Нужно быть честным перед собой. Но спорить о её гипотезе сейчас не хотелось. В конце концов, все решат новые исследования и время. И он сдался, согласившись выступить. Андрей Платонович боялся показаться несправедливым, или завистливым. К тому же не хотел обижать Постникова.

Евгения Марковна, рассыпавшись в благодарностях, торопливо поднялась. Профессор Бессеменов со старомодной учтивостью проводил её через полутемный, заставленный старыми шкафами, коридор, и уже в дверях лаборатории произнес своим высоким, скрипучим, голосом:

– Запомните, пожалуйста, то, что было две тысячи лет назад сказано: «Помышление сердца человеческого – зло от юности его».

Но счастливая Евгения Марковна уже не слушала его.

ГЛАВА 3

Учёный совет, на котором было принято ходатайство о создании в институте новой лаборатории, запомнился Евгении Марковне надолго. Профессор Бессеменов свое слово сдержал. Говорил минут пять, не больше, в основном об актуальности и перспективности проблемы, поддержал идею создания новой лаборатории, а гипотезу Евгении Марковны обсуждать не стал – время, мол, и последующие исследования все поставят на свое место. Это потом уже, в протоколах, при активном участии Евгении Марковны, акценты в его выступлении несколько сместились, и Андрей Платонович превратился в убеждённого, хотя и осмотрительного приверженца смелых научных планов.

Едва Андрей Платонович закончил свое выступление, к трибуне устремился профессор Шухов. В тот день она увидела его впервые: ничем не примечательный, похожий на жердь, блеклый мужчина в сером, уже не молодой, со сдавленными с боков, как у камбалы, лицом – в первый момент он не вызвал у Евгении Марковны никаких эмоций. У неё и в мыслях не было, да и не могло быть, что вот так, просто, без всякой видимой причины (впрочем, причина очень скоро стала ясна Евгении Марковне – зависть и антисемитизм), Шухов может, даже не будучи знакомым, её возненавидеть. И что эта ненависть, бессмысленная, глупая и мелочная, целых десять лет, пока Шухов не впадет в прострацию, станет с маниакальным упорством сторожить каждый её шаг, учинять безнадежные, но изматывающие сражения из-за каждого поступающего в лабораторию к Евгении Марковне прибора, писать жалобы, распространять слухи, один нелепее другого, насылать комиссии, и все это с елейной, иудушкиной, подленькой улыбкой.

Как ученый, Николай Иванович Шухов ничего собой не представлял, докторскую с трудом защитил к пятидесяти, благодаря очевидным подтасовкам и изнурительной усидчивости, и был обречен на пожизненное заведование второсортной лабораторией, откуда вечно бежали сотрудники. Его, до поры до времени, никто и не принимал всерьез, кроме него самого, даже звали за глаза мышонком. Он и в самом деле ходил всегда в сером, потертом костюме, и сам был какой-то потертый, несвежий, сероватый. Но однажды, вскоре после Павловской сессии, серенький мышонок был выпущен на трибуну, и вместо обычного, слегка косноязычного писка, в его слабом голосе появились стальные ноты, взор загорелся опереточным гневом внезапного прозрения, худые руки сжались в кулаки, в жердеобразной фигуре проглянул силуэт Великого Инквизитора, и вот, уже в застывшей тюремной тишине переполненного зала Николай Иванович поднял негнущиеся персты, указуя, как на ведьм, на окопавшихся в институте антипатриотов и скрытых противников нервизма – и начался погром. С трибуны Шухов спускался под барабанную дробь, и уже не мышонком, а тигром-людоедом и сам Постников, перепуганный и побледневший, лишившись былой вальяжности, неловко и слегка заискивающе торопился позвать его потную от волнения, худую руку.

Сразу после этого выступления и двухдневной сессии, вошедшей в институтские анналы под названием «чёрной» (было и другое название, пущенное в ход много позже институтским острословом Ройтбаком – «ночь длинных ножей»), в Институте началась перетряска: неугодных изгоняли, расформировывали и перестроивали отделы и лаборатории, срочно меняли планы, корректировали тематику, впопыхах изучали и приспособливали для повседневных нужд учение об условных рефлексах. Словом, Институт был надолго выбит из колеи, и в этой всеобщей смуте Шухов развил такую бурную деятельность – то есть, кричал, толкался и сыпал проклятиями громче всех, – такую проявил непримиримость и принципиальность, так сумел заслужить благоволение в Академии, что вскоре оказался единственным кандидатом в замы после того, как по работе Института было принято специальное постановление, и вконец задёрганный и запуганный Постников, сам лишь чудом избежавший остракизма, принёс в жертву на алтарь Института безропотного агнца – бывшего своего заместителя. Впро-

чем, официально кандидатуру Шухова предложил сам директор, тем самым укрепивший свою подмоченную репутацию патриота и сторонника нервизма. К тому же, с точки зрения Евгения Александровича, у Шухова имелись и немалые достоинства – при всей своей суетливости и подлости он казался слишком сер и мелок, чтобы серьёзно угрожать директору.

Своим новым положением Шухов наслаждался до неприличия. Взгляд его приобрел начальственную желчность и положенную по времени подозрительность, на тонких губах замерцала презрительно-высокомерная усмешка, в жердеобразной, негнущейся фигуре прорезалось нечто карикатурно-помпезное, и он, теперь с осанкой и горделивостью первого любовника из захолустной оперетты, восседал в креслах президиума, и даже у себя в кабинете под огромным портретом Сталина. Он и костюм пошил себе новый – вместо поношенного серого стал щеголять в ярко-коричневом. Только с походкой, сколько Шухов ни старался, ничего не мог поделывать, – она по-прежнему оставалась не по-мужски вихляющей, что, увы, порождало в институте всяческие нелестные для Николая Ивановича пересуды. Зато бумаги, поступавшие к нему на подпись, Шухов не просто подписывал, как другие, а долго разглядывал, смотрел на свет, словно отыскивал на них водяные знаки, и наконец принимался читать с таким чувственным удовольствием, какое не испытывал, вероятно, даже при исполнении супружеского долга. С той же тошнотворной бессмысленностью он поправлял каждую запятую, переделывал по очереди все фразы и заставлял перепечатывать каждый текст не меньше десятка раз. Вообще с наслаждением вмешивался во всё, обожал выступать на собраниях, поучать, издеваться с приторно вежливой миной, чуть ли не регулярно проводил месячники по укреплению дисциплины, устраивал бесчисленные проверки, ревизии и комиссии, и просто лучился от радости, когда ему удавалось, все равно кому, уборщице или заведующему лабораторией, прочесть нравоучение. Впрочем, если быть совсем точным, одного человека в Институте, а именно уборщицу тетю Машу, он всё-таки побаивался, потому что она одна, в силу своей необразованности и недооценки политического момента, резала ему правду-матку в глаза.

Как бы там ни было, если раньше профессора Шухова просто недолюбливали и по привычке нередко посмеивались над ним, то теперь его, естественно, стали ненавидеть. Да и с Постниковым Шухов очень скоро сумел испортить отношения, так что директор, едва оправившись от страха, стал тяготиться одиозным замом-осведомителем. И поэтому нет ничего удивительного, что уже в пятьдесят шестом году, сразу после двадцатого съезда партии, при очередном переизбрании на должность заведующего лабораторией Шухова после хвалебных речей членов конкурсной комиссии при тайном голосовании скандально забаллотировали чуть ли не тремя четвертями голосов. Поговаривали, что идея провалить Шухова принадлежала самому Постникову. Доказательств, однако, не было никаких. На учёном совете Постников предусмотрительно не присутствовал – то ли сказался больным, то ли заболел на самом деле. После такого афронта с должности зама по науке Шухову вскоре пришлось уйти. Зато в заведующие лабораторией Постников, под нажимом Академии, провёл его по приказу, а года два спустя, когда улеглись страсти улеглись, Шухова потихоньку провели по конкурсу.

Совершенно очевидно, что Шухов был больно уязвлен пожизненной ссылкой в собственное жалкое феодальное владение, тем более, что лаборатория под руководством такого человека, как Николай Иванович, неизбежно должна была превратиться в змеиное гнездо, и люто возненавидел Постникова. Впрочем, на открытую оппозицию он не решался, ограничиваясь в основном сплетнями, мелкими уколами, и редкими анонимками.

Создание новой лаборатории никак не затрагивало интересы Шухова, но в его ненависти к Постникову, и желании по возможности навредить директору, заключалась ещё одна причина, отчего Шухов торопливо, своей вихляющей походкой взбежал на трибуну. Не дав никому опомниться, он неожиданно обрушился на Андрея Платоновича:

– Я был несказанно удивлён, что глубокоуважаемый профессор Бессеменов сегодня публично отказался от своей теории. Ведь он не только не опроверг самым решительным образом

гипотезу уважаемого доктора наук, Евгении Менделевны Маевской (так и сказал: Менделевны, не поленился в личное дело заглянуть), но даже косвенно признал её достойной изучения. А ведь до сегодняшнего дня у нас была не гипотеза, но теория, и мы по праву гордились ею, как очень большим достижением отечественной науки. Ну что ж, если профессор Бессеменов по каким-то, непонятным, соображениям не считает возможным отстаивать свою теорию, то я, как патриот, как учёный, вижу свой долг в том, чтобы сделать это за него, – он продолжал говорить, а Евгению Марковну всё сильнее кидало в жар. Нет, Шухов был совсем не глуп. Он мастерски, с видом оскорблённой объективности, обнаруживал все слабые места её доклада, уверенно цитировал Бессеменова, ссылаясь на его эксперименты и на марксистско-ленинское учение – чувствовалось, что к сегодняшнему выступлению Шухов готовился основательно. Но откуда он мог заранее узнать содержание её доклада? Неужели прочитал тот экземпляр, что она предварительно представила в учёную часть? Это казалось невероятным, и всё-таки несомненно это было именно так. Значит, кроме Шухова, у неё уже тогда имелись в институте недоброжелатели. Но вот, что важно – после выступления Шухова её гипотеза уже не казалась такой убедительной, как прежде. И члены ученого совета, поддерживавшие Евгению Марковну, начали сомневаться. Ещё немного, и всё пошло бы прахом.

Постников, внешне по-прежнему невозмутимый, сразу понял, к чему клонит Шухов. Они оба очень хорошо знали свой ученый совет. Стоит только вспыхнуть научному спору, и слово тут же попросит профессор Варшавский. Варшавский выступал всегда и везде: на учёных советах и научных конференциях, на защитах, на днях рождения, похоронах, по случаю революционных праздников, на митингах, на банкетах, и даже без видимого повода, заманив к себе в кабинет какого-нибудь незадачливого слушателя. Из-за пристрастия к произнесению речей с профессором Варшавским случались разные истории: то на похоронах, забыв о почившем в бозе профессоре, он произнес яркую, полную юмора речь о его сыне, закончившем аспирантуру тут же, в Институте. То на торжествах по случаю юбилея уважаемого коллеги красноречиво живописал великолепные достоинства и моральную чистоту его бывшей любовницы. То на защите диссертации принимался горячо расхваливать труды одного из оппонентов, или со слезами в голосе вспоминать о собственной защите.

А уж если выступит профессор Варшавский, никогда нельзя знать заранее, куда выведет его собственный полемический пыл. С Варшавским же непременно заспорит его приятель Сулаквелидзе – они никогда ни в чем не хотят уступить друг другу. И пойдёт, и пойдёт. Этих краснобаев хлебом не корми, только позволь им поспорить. А там, где научные споры, где бушуют полемические страсти, там и не пахнет единодушием. Между тем, необходимо единодушное решение. Любое другое сильно затруднит Постникову последующие переговоры в Академии.

По мере того, как Шухов продолжал витийствовать, показное равнодушие медленно сползло с лица Постникова, а левая щека начала непроизвольно дёргаться. Евгений Александрович сердито растер щеку и снова принял сонно-благодушный вид. Но он уже принял решение. Нужно остановить эту говорильню, эту дурацкую игру старых болтунов в демократию. Евгений Александрович что-то шепнул ученому секретарю, та торопливо спустилась в зал и пробралась между стульев к профессору Варшавскому.

– Михаил Абрамович, Евгений Александрович убедительно просит вас воздержаться от выступления. Повестка очень напряженная.

Варшавский обиженно поджал губы. Он уже тщательно взвешивал все «pro» и «contra», «во-первых», «во-вторых», и «в-третьих», и даже приготовил эффектное начало речи: «Глубокоуважаемые коллеги! Вы, наверное, хорошо помните, какие последствия имел легкомысленный поступок Париса, вручившего золотое яблоко богине Афродите. Он, как утверждает бессмертный Гомер, стал причиной войны между греками и троянцами. Я думаю, что буду близок к истине, если решусь утверждать, что споры о природе аритмий между сторонниками теорий

ge-entry, и гетеротопного автоматизма, продолжающиеся вот уже десятки лет, ничуть не уступают по накалу страстей древнему спору между Парисом и Менелаем за обладание прекрасной Еленой. И те, и другие хотят захватить золотое яблоко истины. Тем символичнее сегодняшнее выступление профессора Бессеменова, благородно протянувшего оливковую ветвь мира стороннице других взглядов. Это очень правильно: не споры, но совместная работа – вот, что сегодня особенно важно. Не надо забывать: речь идет не об отвлеченной проблеме. За нашими научными спорами мы не должны забывать больных людей с их страданиями, с их надеждами, с их верой в нас, учёных...»

На этом месте будущая речь профессора Варшавского застопорилась, потому что, к сожалению, никаких принципиальных соображений у него не оказалось. За свою долгую научную жизнь он никогда не занимался аритмиями, и теперь ломал голову, как лучше продолжить речь: то ли согласиться с Шуховым, критиковавшим гипотезу Евгении Марковны, то ли нет. Но скорее нет, потому что Шухова Михаил Абрамович терпеть не мог.

Профессор Варшавский никогда не мог простить Шухову пятьдесят третий год. В то время Шухов находился в зените своего могущества, голова его сладко кружилась от успехов, глаза горели безжалостным фанатическим огнём: еще немного – он станет директором. Никогда, ни раньше, ни позже, даже во время разгрома генетиков и битвы за нервизм не был он так беспощадно красноречив, не кипел так сарказмом и негодованием. Он яростно клеймил врачей-вредителей, международный сионистский заговор, и тайных агентов «Джоинта», заявлял, ударяя кулаком по трибуне: «Мы не позволим превратить Институт в синагогу!». Впрочем, и другие клеймили врачей, но никто с таким фанатичным, омерзительно-злорадным удовлетворением, никто так зловредно не потирал руки – тяжкие, душные, разящие стрелы его обвинений обрушивались на сидящих в зале, фанатический безжалостный взгляд подозрительно блуждал по лицам, и каждый, на ком он хоть на одно мгновение задерживался, чувствовал леденящий холодок в груди, вжимался глубже в стул и опускал глаза, словно можно было скрыться от этого всевидящего, беспощадного, испепеляющего взгляда.

– Что он говорит? – Михаил Абрамович скорее удивился, чем возмутился, в теории марксизма он был чрезвычайно подкован. – Это же чёрт знает что. Чистой воды буржуазный шовинизм и ренегатство. Надо дать ему отпор, – профессор Варшавский почувствовал во всём теле тот самый зуд, что всякий раз заставлял его рваться на трибуну, но на сей раз неприятное стеснение в груди не проходило, сердце билось неровно, с перебойями, и профессор Варшавский, неожиданно почувствовав слабость в ногах, так и остался безвольно и жалко сидеть на месте. Единственный раз за все годы.

Только дома, напившись чаю – даже аппетит у него пропал, – Михаил Абрамович наконец почувствовал, как медленно тает в груди ледяной ком и по телу разливается приятное, успокаивающее тепло. Лишь тогда он снова обрёл дар речи и произнёс перед единственным свидетелем, перед собственной женой, свою невысказанную речь, одну из самых блестящих речей в его долгой, непростой жизни. Но Полина Исаевна на сей раз слушала мужа невнимательно. У неё были совсем иные мысли и, наконец, не выдержав, она со злостью прервала его на самой середине.

– Догматик проклятый, да какой, к чёрту, пролетарский интернационализм? Ты что, не видишь, что делается кругом? Я вот думаю и не могу понять, кому всё это нужно, и что теперь с нами со всеми будет? Неужели Сталин не знает? И ради чего, хотела бы я знать, сложил свою голову на войне Алик? Лагеря, говорят, готовят в Сибири. Офицеров уже арестовывают¹⁶. В самом деле, чем мы лучше крымских татар, или калмыков?

Как и Михаил Абрамович, Полина Исаевна раньше работала в Институте и только недавно ушла на пенсию. Тем не менее, профессор Варшавский всё ещё писал от её имени ста-

¹⁶ Во время «Дела врачей» некоторые офицеры-евреи были арестованы.

ты и она не хуже супруга знала, что происходит сейчас и в Институте, и за его стенами. Полина Исаевна оказалась права. Вслед за шабашем Шухова над Институтом, как и над всей страной, в последний раз взметнулась железная метла репрессий. Взметнулась – и застыла в воздухе, пока не выпала из мёртвых рук тирана. Но тогда, в пятьдесят третьем, никто не мог предположить скорую смерть того, кто в могуществе своём казался бессмертной Богом, а потому Михаилу Абрамовичу чашу унижений и страхов пришлось испить до дна. И он навсегда запомнил, как Шухов, неприступный и грозный, говоривший в то время с лёгким грузинским акцентом, проходил мимо, глядя на него в упор и словно бы удивляясь, что он всё ещё существует.

Несколько лет спустя – к тому времени «Дело врачей» давно лопнуло, его вдохновитель Берия был расстрелян, как враг народа и вся страна жила под впечатлением Двадцатого съезда, а у профессора Шухова неумолимо приближался срок переизбрания по конкурсу – он остановил профессора Варшавского в коридоре и, заискивающе улыбаясь (точь-в-точь мышонок, от тигра не осталось и следа), заговорил подобострастно и вкрадчиво:

– Вы всё ещё сердитесь, Михаил Абрамович? Напрасно. Уверяю вас, напрасно. Я вовсе не антисемит – мы же с вами культурные люди. Я вас защищал тогда, как мог. Я прекрасно знаю, что вы – большой ученый, с мировым именем (профессор Варшавский еще в двадцатые годы печатался в зарубежных журналах). Так им и сказал. Чтобы оставили вас в покое. А то моё выступление – забудьте! Глупость, детский лепет, ну, сами понимаете, такое время. Берьевщина. Перепугался. Тогда люди и повыше меня не знали, что творили. Слышали, в Грузии целые фамилии вырезали!? Не держите в голове, – и он заискивающе протянул руку. Профессор Варшавский, упорно державший в течение всего разговора руки за спиной, хотел было пройти мимо, глядя в упор, и одновременно сквозь Шухова, будто тот уже превратился в ничто, но не решился. Ведь Шухов вовсе не был и долго ещё не станет призраком, и даже оставался замом по науке, хотя и сидел теперь тихо, никому не читал нотаций и демократично ходил на работу пешком. Ругая себя за малодушие, Михаил Абрамович что-то невнятно пробормотал и, вымученно, неестественно улыбаясь, обречённо пожал протянутую потную руку.

Положение спас тогда Николай Григорьевич Головин. Он взял слово сразу после Шухова и всё поставил на свои места.

– Рано еще дискутировать, – сказал он. – Сначала нужно работать. Для работы дирекция и планирует создание новой лаборатории. А уж если лаборатория будет создана, то лучшего руководителя, чем Евгения Марковна Маевская, не найти. Все видели сегодня её научную эрудицию. Он же считает своим долгом охарактеризовать Евгению Марковну как талантливого экспериментатора и человека абсолютной честности. Что же касается детальных планов работы будущей лаборатории, они будут согласованы и утверждены позднее. Не надо забегать вперед, всему своё время.

Николай Григорьевич имел право так говорить. Уже тогда он был членом-корреспондентом и к тому же непосредственным руководителем Евгении Марковны. И учёный совет единогласно поддержал ходатайство о создании новой лаборатории. Даже Шухов не решился выступить против – ни тогда, ни через несколько месяцев, когда решение о создании лаборатории было, наконец, утверждено в Академии, и Евгению Марковну избирали на должность заведующей. В тот, второй раз, Шухов даже подошёл к ней, чтобы показать свой бюллетень.

Зазвонил телефон.

«Это Коля», с надеждой подумала Евгения Марковна, и почувствовала, как у нее задрожали руки, и учащенно забилось сердце. Коля неделю назад вернулся из Англии и должен был узнать обо всём. Он всегда обо всём узнавал очень быстро.

Но звонили по ошибке, перепутали номер. Евгения Марковна с досадой положила трубку.

– Нет, Коля сегодня не позвонит. И вообще не позвонит, – ей не хочется в это верить, но на сей раз она знает, что сердце не обманывает. Евгения Марковна сама протягивает руку к телефону, снимает трубку, долго стоит, не решаясь набрать номер. Потом кладёт трубку на место.

– Соковцев – не Шухов. А за Соковцевым Чудновский. Против них Коля не пойдёт. Да и время сейчас не то. К тому же они давно не близки. И всё-таки, мог бы позвонить, – с обидой думает Евгения Марковна.

Она медленно, тяжело поднимается, шагает по комнате. Потом садится в кресло. Закрывает глаза.

ГЛАВА 4

Андрей Платонович Бессеменов умер через два года после создания лаборатории Евгении Марковны так же тихо и деликатно, как жил: сидя за письменным столом, неожиданно выронил ручку и уснул. Было очень рано. Это случилось ранним утром – он всегда приходил на работу первым, и в лаборатории никого не было.

Накануне, в девятом часу вечера, Андрей Платонович закончил свой последний эксперимент. Он устало улыбнулся, сам вымыл инструменты, как делал это всегда, несмотря на возражения преданной Галины Ивановны, неторопливо оделся, и пошёл пешком к трамвайной остановке. Он был слегка возбуждён. Чуть ли не сорокалетний труд закончен. Раньше он был прав и одновременно ошибался, теперь всё окончательно становилось на свои места.

Дома Андрей Платонович хотел было тут же набросать статью, изложить хотя бы самую главную мысль, но он чувствовал себя очень уставшим – всё-таки восемьдесят два года. И потому решил отложить работу на завтра. Завтра он встанет пораньше, пораньше пойдёт на работу и сядет за эту статью – своё самое главное наследство, квинтэссенцию всех своих трудов, – пока никого из сотрудников ещё нет, ничто не отвлекает, а голова поразительно ясная. Со статьёй, конечно, придётся повозиться, понадобится неделя, или две работы, но что значат одна, или две недели по сравнению с почти сорока годами?

А потом, когда закончит эту статью, он возьмёт отпуск, впервые за последние годы, и поедет в Ленинград, в город своей молодости – там он закончил университет, там делал первые шаги в науке. Съездит в родной институт, поклонится праху великого учителя, потом – на Пискаревское кладбище, где в братской могиле покоятся мама, сестра и племянница. Все они умерли страшной зимой сорок первого – сорок второго года. И ещё, если хватит сил, сходит в Зимний, в Эрмитаж, съездит к Смольному полюбоваться одним из самых удивительных чудес Растрелли, Воскресенским монастырем, как любовался и не мог налюбоваться в далёкой юности. Они с Лизой часто приходили туда, в те далёкие-далёкие годы, ещё до первой революции. Здесь, на площади перед Смольным, при праздничной иллюминации, они и новый век встречали. Не чаяли тогда, счастливые, ни будущих катастроф, ни крови, ни одиночества...

Лиза и жила там, неподалеку. Андрей Платонович и сейчас до мельчайших подробностей помнил её старый каменный дом-колодец, который всегда, даже в солнечную погоду, казался снаружи сырым и холодным...

Лиза играла на фортепьяно, звуки сквозь открытое окно падали в каменный мешок двора. Лиза Она была в лёгком розовом платье, упрямый светлый локон падал ей на лоб, а на столе, в старинной хрустальной вазе, стояли принесённые им розы... Он положил руки на клавиши, звуки гулко, фальшивым аккордом, взметнулись и замолкли... И тогда он прошептал:

– Лиза...

...Одна тысяча девятьсот четвертый год... А потом они венчались в Воскресенской церкви...

...Почти шестьдесят лет с тех пор минуло, никого больше нет в живых, только старый, одинокий профессор...

Андрея Платоновича нашли за столом: руки безвольно свисали, голова упала на стол, на единственный исписанный лист бумаги – строчки бежали, спотыкаясь и прыгая, словно Андрей Платонович писал из последних сил.

Этот листок с пророческими строчками, которые будут потом цитировать научные журналы и повторять на конференциях и симпозиумах, отстаивая приоритет отечественной науки, сохранила Галина Ивановна Воскобойникова, бессменная лаборантка, машинистка и секретарша профессора Бессеменова, проработавшая с ним почти четверть века. Целых семнадцать

лет, с того самого дня, когда группу Андрея Платоновича расформировали сразу после его смерти, она хранила этот листок вместе с черновиками последних статей профессора Бессеменова, так никем и не законченных, у себя дома, в тесной комнате коммунальной квартиры среди выцветших от времени семейных фотографий и старых вещей, со временем превратившихся в реликвии: маленькой иконки, Евангелия, старинного томика стихов Пушкина и старой шляпы с бумажными цветами – вещей, давно никому ненужных, кроме самой Галины Ивановны. А через семнадцать лет, каким-то чудом узнав о готовившейся публикации, Галина Ивановна, к тому времени глубокая пенсионерка, принесла бумаги Андрея Платоновича, и этот лист в редакцию журнала, где должна была выйти большая юбилейная статья в связи с предстоящим столетним юбилеем профессора. К тому времени после разгромной критики, которой подвергла его теорию профессор Маевская, последовавшего за ней периода посмертного остракизма и забвения, основные положения теории профессора Бессеменова блестяще подтвердились, эксперименты были признаны классическими и имя его вышло из небытия, получив громкую, хотя и запоздалую известность. Теперь об Андрее Платоновиче вспоминали всюду – на международных конференциях и в научных журналах, о нем писали статьи, на его работы широко ссылались, отстаивая приоритет отечественной науки, его торжественно, хотя и несколько безапелляционно, провозглашали автором наиболее современной теории аритмий и даже готовили к переизданию написанную им когда-то монографию.

Естественно, в институте, где профессор Бессеменов заведовал когда-то маленькой группой из пяти человек, была организована юбилейная комиссия. В неё вошли восемнадцать маститых институтских ученых и общественных деятелей, возглавляемых самим директором, решительным и энергичным патриотом, блестящим популяризатором и прожжённым прагматиком, тонко рассчитавшим, что предстоящие торжества станут важной ступенью в его собственном избрании в Академию.

Во время предстоящего юбилея, кроме грандиозного банкета в «Славянском базаре», экскурсий в Архангельское и Загорск, а также посещения Большого театра самыми именитыми из гостей, предполагалось присвоить имя профессора Бессеменова одной из лучших лабораторий Института, установить мемориальную доску и бюст Андрея Платоновича, посвятив этому выдающемуся событию митинг, на котором главными ораторами станут сам директор, академик-секретарь Николай Григорьевич Головин и другие, нужные директору люди, провести Всесоюзную конференцию, пригласив выступить с докладами самых именитых и влиятельных ученых, и среди них профессора Маевскую (в последний момент по тайной просьбе Соковцева приглашение это будет аннулировано – еще один тяжкий удар по самолюбию Евгении Марковны), а также учредить премию имени профессора Бессеменова для молодых учёных, которую, после объективного и тщательного рассмотрения жюри, получит сын директора. Но самую большую радость среди гостей, особенно среди приглашённых молодых провинциалов, вызвало известие об издании юбилейного сборника, что счастливо решало нелегкую проблему предзащитных публикаций. Молодые люди, никогда раньше ничего не слышавшие об Андрее Платоновиче Бессеменове, были в особенном восторге от предстоящих торжеств – пышной ярмарки будущих оппонентов, необходимых деловых знакомств и веселых развлечений.

Но тогда, в свой последний день, Андрей Платонович ничего этого не знал. Не страшился забвения и не думал о славе. Он сидел в своём старом разболтанном кресле, задумчиво покусывал ручку, – эта привычка сохранилась у него с детства, – и, наслаждаясь логической стройностью мыслей, торопливо писал: «В течение длительного времени две теории развития аритмий: кругового движения волны возбуждения (ge-entry) и гетеротопной автоматии противопоставлялись одна другой, а между сторонниками обеих теорий велась бескомпромиссная научная борьба. Однако после многих лет работы в данной области, мы всё больше приходили к выводу, что, хотя механизм ge-entry и является более распространённым в развитии аритмий,

в зависимости от кондичиональных факторов, могут участвовать совместно, или порознь, оба механизма. Истина, таким образом, оказалась посередине между этими крайними теориями, как это чаще всего и бывает в жизни, которая бесконечно сложнее, глубже и разнообразнее любых теорий. А бескомпромиссность обеих школ скорее затрудняла, нежели облегчала поиск истины. Признание существования и взаимодействия обоих механизмов не только не противоречит существующим фактам, но, напротив, позволяет объяснить всё их многообразие...»

Андрей Платонович всё-таки познал истину, примирил две теории, казавшиеся раньше непримиримыми, и умер, так и не успев сообщить о своём открытии...

ГЛАВА 5

В тот день Женя Кравченко вошёл в кабинет без приглашения. Поздоровался, молча положил свои таблицы и графики на стол, и решительно, хотя голос его от волнения дрогнул, сказал:

– Евгения Марковна, мне надо с вами поговорить.

– Ну что же, садитесь, – профессор Маевская указала Жене на стул, и тотчас почувствовала, как её радостное настроение улетучивается, а в сердце на мгновение шевельнулась неясная тревога.

Евгения Марковна только вчера вернулась из Италии, и ей хотелось сейчас собрать сотрудников, рассказать о своем триумфальном выступлении на конференции, о встречах и беседах с известными учеными, об их лестных отзывах о её докладе, наконец, просто об Италии, о Милане, о спектакле в знаменитом театре Ла Скала, о том, кто был во что одет, что подавали в ресторане, и какие были тосты и речи. Но вошёл Женя со своими бумагами, с мрачным и решительным выражением на лице, и все эти приятные воспоминания отступили, а настроение безвозвратно испортилось.

Четырнадцать лет минуло с того дня, всё, кажется, давно отошло и отгорело, но при одной мысли о Жене сердце у Евгении Марковны начинает биться скорее, неподвластное ни разуму, ни времени, неприятное стеснение возникает в груди, и комок подкатывается к горлу. Она закрывает глаза, тихо, горько вздыхает, пытается успокоиться, но Женя по-прежнему сидит перед ней, подавленный, осунувшийся, обхватив руками лицо. Таблицы и графики разложены на столе. Не на письменном, где Евгения Марковна обычно работала с сотрудниками, а на круглом, в углу её тесного, заставленного книгами и папками кабинета, у низенького окна, откуда открывается скучный вид на маленький, сплошь заасфальтированный институтский дворик, с чахлой пропылённой клумбой посередине, и неестественно торчащими из асфальта полузасохшими старыми деревьями. Стол был накрыт скатертью, на нём стояли электрический самовар, сахарница и чашечки на подносе – они и сейчас там стоят, только на крышке от сахарницы появилась глубокая трещина. За этим столом Евгения Марковна обычно пила чай и принимала гостей. Но Женя, конечно, не уловил её утонченный намек на кратковременность их разговора.

– Ничего я не понимаю. Ерунда какая-то. Я тут поставил новые эксперименты. Они снова всё перевернули. Может, всё-таки прав был Бессеменов, а не вы, – глухой и тоскливый голос Жени всё ещё звучит у неё в ушах.

– О, господи, господи! – шепчет Евгения Марковна. – Какое полное отсутствие элементарной вежливости.

Мужицкая прямолинейность Жени всегда выводила её из себя. В свое время у профессора Маевской с Женей Кравченко были связаны особые надежды. Уже первые его эксперименты, поставленные вскоре после создания лаборатории, позволили предположить, что при длительной ишемии аритмии возникают посредством гетеротопной автоматии. Это был блестящий успех, превзошедший самые смелые надежды Евгении Марковны. Права оказывалась она со своими умозрительными предположениями, а не профессор Бессеменов, проработавший полжизни над проблемой нарушений ритма. От этого успеха Евгения Марковна находилась словно в горячке. Честолюбивые надежды и планы переполняли её. Все в ней дрожало от нетерпения, от сладостного предвидения – она воображала, как выступит с новой теорией, какой произведёт фурор. Даже во сне продолжала мечтать. Видела себя лауреатом, представляла, как её избирают в Академию, слышала сладостный гром аплодисментов, восторженный шёпот, ловила на себе жадные взгляды Николая, просившего прощения за всё. Как-то ей приснилось, будто она беседует с покойным Бессеменовым и доказывает Андрею Платоновичу, как сильно он заблуждался.

И все-таки, несмотря на нетерпение и полную уверенность в своей правоте, Евгения Марковна заставила себя подождать, пока Женя поставит еще несколько серий экспериментов. И не только Женя. Почти с таким же волнением профессор Маевская ожидала результатов и от Юры Моисеева, и от Лены Анисимовой. Ведь её теория аритмий впервые – да, да, впервые! – экспериментально связывала развитие аритмий не только с электрофизиологическими процессами, но и с нарушениями метаболизма. А до того она ни словом, ни жестом никому не выдала свои честолюбивые планы и надежды. Только каждый день приглашала всех к себе, знала каждый их шаг, каждый результат, и всё торопила и торопила их с работой.

Порой Евгения Марковна смотрела на себя со стороны. Тогда она казалась себе картёжницей. Она сделала ставку, рассчитала всё, что могла, всю душу вложила в свою карту, и теперь ей оставалось только ждать. Проверить, правильно ли устроено в природе, соответствует ли природа её теории. К счастью, Евгению Марковну не подвела её редкостная способность к дедукции. Выпал козырь. Лена и Юра принесли именно то, чего она от них ждала, и Женины новые эксперименты блестяще – да, да, блестяще, нет у неё другого слова – подтвердили гипотезу гетеротопной активности в ишемическом очаге. Тут не могло быть ни обмана, ни ошибки. Женя не подозревал о честолюбивых планах Евгении Марковны, а если и догадывался, так всё равно был слишком недалёк и слишком честен, чтобы совершить столь блистательную подтасовку. Да, Женя, в отличие от Евгении Марковны, даже и не считал свои результаты победой. Он хотел изменить условия эксперимента и уговаривал не торопиться с выводами. Но Евгения Марковна больше не могла и не хотела ждать. Козырь находился у неё в руках и ей пора было сорвать банк. Ей нельзя было не торопиться. В современной науке разрыв между исследователями составляет не годы и даже не месяцы, а дни и часы. Идеи носятся в воздухе. Нужно только успеть поймать их первым. А чуть задержишься, чуть промедлишь, станешь разбираться и ждать – тебя тут же обойдут другие, и заберут себе львиную долю твоего успеха, и твоей славы.

Тот её доклад на обществе – первый штурм теории Бессеменова, смесь ярких гипотез, действительных фактов, банальных софизмов и скромных умолчаний – произвел впечатление разорвавшейся бомбы. Профессор Маевская сразу стала знаменитой, и за ней, как за настоящей научной дамой, потянулся длинный шлейф восхищённого шёпота, тайных пересудов, заискивающих улыбок и многозначительного молчания. Да, в тот день Евгения Марковна утвердила свое громкое имя, хотя и не одержала победу в яростной словесной схватке с самыми решительными и стойкими сторонниками теории покойного Андрея Платоновича, разгоревшейся сразу после её доклада. Все так и остались при своём мнении. У каждой из сторон имелось достаточно аргументов, а когда аргументы кончились, в пылу спора противники оставили сухой язык академической учёности, предпочтя ему полнокровный и сочный язык взаимных обвинений и упрёков. Кто первый кинулся в рукопашную, Евгения Марковна вспомнить потом не могла, но злые языки за её спиной утверждали, что зачинщицей той бурной и не совсем научной полемики стала именно профессор Маевская. В тот день (какой дьявол её толкал, она не знала, но без нечистой силы тут не обошлось) она в полемическом пылу обвинила покойного Андрея Платоновича, которого не могла не уважать, «в метафизике, в узко ограниченном механистическом подходе, в отсутствии диалектических взглядов, в агностицизме» и чёрт знает в чём еще, теперь и не вспомнить, да и вспоминать стыдно. А его сторонников – в открытом передёргивании фактов и в подлоге. Одним словом, скандал вышел изрядный и председательствующий с трудом к одиннадцати часам вечера утихомирил разбушевавшиеся страсти.

Соппротивление оппонентов только разожгло энергию Евгении Марковны. В то время никто из крупных учёных-экспериментаторов в стране проблемой развития аритмий не занимался, это была ничейная земля, и она твёрдо решила стать монополисткой, а поставив перед собой задачу, повела борьбу с непоколебимой стойкостью, решительностью и бескомпро-

миссностью. Перед её могучим натиском, при поддержке Постникова и Николая Григорьевича, относительно быстро капитулировали редакции журналов, правления обществ и ученые советы. О её теории писали теперь в учебниках, а разрозненных противников она в несколько лет полностью подавила своим влиянием и авторитетом, предоставив им выбор между полной капитуляцией и прозябанием на задворках науки. Она теперь в одном лице стала законодательницей, судьёй, рецензентом, главным оппонентом, членом ВАКа, разных редколлегий, признанной главой ведущей научной школы и, естественно, никто больше не решался открыто оспаривать теорию профессора Маевской. Напротив, редакторы наперебой рвали статьи у нее из рук. Печаталась она и в иностранных журналах, правда, только в восточноевропейских.

Имелась, конечно, у славы и отрицательная сторона. В лаборатории приходилось теперь бывать значительно реже, чем раньше – всё больше времени уходило на заседания, совещания, председательствования в разных комиссиях и на ученые советы. Но Евгению Марковну это не очень тяготило. Всегда элегантная, одетая по последней моде, хотя и без всякой вычурности, она с удовольствием восседала в президиумах, нарушая их скучное мужское однообразие своей ослепительной улыбкой.

Теорию Бессеменова, естественно, начинали забывать, а если кто и вспоминал, то с обязательным уточнением: «признававшаяся ранее», «утратившая практическое значение», «опровергнутая профессором Маевской», «основанная на метафизике», и прочее.

В те годы Евгений Александрович Постников особенно благоволил к Евгении Марковне, потому что слава профессора Маевской служила капиталом его Института. К тому же и собственная его фамилия красовалась рядом с фамилией Евгении Марковны на самых известных её статьях, а профессор Маевская работала над их совместной книгой об аритмиях. Вполне естественно, что Евгений Александрович был и первым соавтором доклада, представленного на международную конференцию в Милане, но, к счастью для Евгении Марковны, он был джентльменом, да и не раз до того побывал в Италии и поэтому поездку в Милан и чтение доклада любезно предоставил ей.

И вот она с триумфом возвратилась домой. Даже Николай Григорьевич, вечный скептик, и тот, наконец, сдался. Позвонил и поздравил с замечательным успехом. Он, наверное, ей завидовал, а может и жалел о прошлом, несостоявшемся и потерянном навсегда. Во всяком случае, голос его в телефонной трубке звучал непривычно глухо, совсем не гармонируя с шутивно-выспренней торжественностью речи. О, Евгения Марковна слишком хорошо его знала и поэтому не верила ни в его искренность, ни шутивому фимиаму его слов, как когда-то не верила его пылкому шёпоту и забытым, до сих пор забытым словам любви. Милый лжец. Но всё равно ей было приятно слышать его голос.

Только Женя Кравченко скептически относился к успехам своего руководителя. Вскоре после её доклада на обществе – Евгения Марковна находилась тогда в состоянии эйфории, – он получил новые результаты, противоречившие её концепции.

– Евгения Марковна, тут еще надо как следует разобраться, – сказал Женя, протягивая ей свои новые диаграммы. – Как бы нам не пришлось играть отбой.

Его занудливый, менторский тон рассердил Евгению Марковну, но она и глазом не моргнула. Нельзя ей было ссориться с Женей – он был слишком нужен. К тому же, несмотря на успех, в то время она ещё не потеряла осторожность. Даже наоборот, временами у нее неизменно отчего возникало ощущение, будто она идёт по узкой тропинке среди болота, и стоит только сделать один неверный шаг, как сразу же окажется в трясине.

– Конечно, Женя, – с наигранным легкомыслием отмахнулась Евгения Марковна, – надо в этом разобраться. Только я сейчас занята. Надо срочно готовить доклад. Посмотрим, что у вас выйдет в следующей серии экспериментов.

К счастью, а может быть, к несчастью (потому что со временем победы оборачиваются поражениями, а поражения превращаются в победы), следующая серия экспериментов под-

твердила её правоту и неприятный разговор с Женей так и не состоялся. Впрочем, кажется, на сей раз это был не просто слепой случай. Хотя Евгения Марковна и верила в непогрешимость своей теории (или только обманывала себя?), у неё и в самом деле была золотая голова, и она уже интуитивно почувствовала (или поняла?), какие факторы способствуют проявлению геторотопной автоматии, и постаралась подобрать для Жени нужные условия эксперимента. Но потом – опять противоречивые результаты, потом – ей снова повезло, и тогда Евгения Марковна решила остановиться. Не искушать судьбу. Предстоял доклад на конференции в Италии, и там профессору Маевской нужно было добиться международного признания. Для доказательства своей правоты у неё имелось немало фактов. Те же данные, что противоречили её концепции, она решила пока спрятать в ящик письменного стола.

– Ещё будет время во всем окончательно разобраться. В благоприятный момент я извлеку все эти графики на свет. Но сейчас это преждевременно. Конечно, что-то тут не так. Скорее всего, какая-нибудь досадная мелочь. Но чтобы её найти, потребуются, может быть, годы. А время не ждёт. Сейчас главная задача – убедить всех в своей правоте. Так неужели же я стану вредить самой себе, – так думала Евгения Марковна, и пыталась убедить в этом Женю. Впрочем, Жене она прямо этого не говорила, он должен был всё понять сам.

Однако Женя ничего не хотел, не способен был понять. Он настаивал на новых экспериментах, сомневался в её правоте, во всей её теории, и даже, кажется, не понимал, как больно ранил самолюбие Евгении Марковны. Станный человек, он не мог остановиться, не мог спокойно усесться за стол и заняться практически готовой диссертацией, как уговаривала его Евгения Марковна, чтобы получить свою долю признания и успеха. Она даже не могла понять, что это было в нём: странная, гипертрофированная, болезненная честность, непонятное, бессмысленное упрямство, или обыкновенная ограниченность. Скорее всего, последнее. Несомненно, для Жени характерно было полное отсутствие психологической защиты и нормальной адаптации к внешнему миру, как сказали бы психиатры, – уж не особая ли, правдоискательская, форма шизофрении¹⁷? – и она, Евгения Марковна, была бессильна разъяснить ему элементарные вещи.

К сожалению, Евгения Марковна была слишком занята представительством, и той нетворческой, занудной, бюрократической работой, которая является неизбежным, засасывающим спутником научной славы и успеха, и поэтому, на несколько месяцев, выпустила Женю из вида. Надеялась, что он, как и обещал, начал, наконец, писать свою диссертацию. Даже слегка злорадствовала в душе, – слова и обобщения не давались Жене, и писал он всегда мучительно медленно и трудно.

О, как она была наивна, как плохо понимала Женю! Это был не человек – кремень, фанатик, сумасшедший. Как жестоко он обманул её. Воспользовавшись доверием, поставил новую серию экспериментов, сам изменил условия опытов, время наблюдения, и получил – именно этого он и домогался – убийственные для её теории результаты.

Почти четырнадцать лет прошло с того дня. В теорию профессора Маевской давно уже никто не верит, даже она сама. Евгения Марковна стойко сражалась до конца, отстаивая каждую свою позицию, слышать не хотела о круговом движении волны электрического возбуждения, но и её неугомонное упорство должно было, в конце концов, отступить под натиском бесспорных доказательств. Время всё расставило на свои места. Но сейчас, во мраке сгустившихся сумерек, сидя в кресле с закрытыми глазами, Евгения Марковна упорно не хочет об этом вспоминать. Сейчас она вся в прошлом, словно и не было этих четырнадцати лет – у неё те же чувства, что и тогда. Так же неудержимо вспыхивает и растёт ярость, заливаясь краской лицо,

¹⁷ Шизофрения на почве правдоискательства – диагноз, который нередко ставили в позднесоветское время разного рода диссидентам, чаще всего – политическим.

и что-то тяжёлое, злое, колючее, шевелится в груди так, что на мгновение Евгения Марковна чувствует удушье.

– Фанатик. Погубил собственную диссертацию. Ни перед чем не остановился, – профессор Маевская, с неожиданной при её полноте стремительностью, вскакивает с кресла, делает несколько шагов по комнате. Но ярость не унимается, голову пронзают острые стрелы боли, Евгения Марковна в отчаянии сжимает виски. Вдруг острая, еще более нестерпимая, чем боль, мысль, насквозь пронзает её.

– Он – фанатик. А я?

Ей отвечает молчание пустой квартиры. Оно обволакивает, выводит из себя, душит её. Евгения Марковна снова опускается в кресло, её лихорадит, в горле спазм. Она закрывает глаза. Воспоминания роятся, перепутываются, кружатся в голове, а рука в это время суетливо шарит по журнальному столику, пока, наконец, не находит валокордин. Евгения Марковна залпом выпивает пол-ложки, запивает холодным чаем, вытягивается в кресле, пытается расслабиться. Постепенно она немного успокаивается, яркие болезненные пятна света перестают мелькать перед глазами, тошнота медленно отступает. Профессор Маевская невидящим взором смотрит в темноту, постепенно опять погружаясь в прошлое.

И снова, как на прокрученной назад киноленте, Женя Кравченко сидит перед ней, сжав руками лицо, и говорит так глухо и тоскливо, будто у него умер кто-то близкий :

– Ничего я не понимаю. Ерунда какая-то. Я тут поставил новые эксперименты. Они снова все перевернули. Может, прав был Бессеменов, а не вы?

– Бить отбой? Заявить на весь мир, что, мол, поторопились, а на самом деле даже сами не знаем, что у нас вышло. Но ведь это нонсенс. Надо сначала самим как следует разобраться. И потом, разве Женя не понимает, что роет себе яму. Что если мы сознаемся в ошибке, его собственная диссертация полетит в тартарары. Ведь нужен же *положительный* результат, а вовсе не путанные факты.

Пора навести порядок, запретить раз и навсегда всякую самодеятельность, а Жене устроить хорошую головомойку.

– Послушайте, Женя, – вкрадчиво запустила Евгения Марковна пробный шар, – А если эти опыты пока отложить? У вас ведь достаточно материала для диссертации. Отдайте мне ваши новые записи, я пока подумаю над ними.

– То есть, как отложить? – растерянно спрашивает Женя. – Для чего?

Как трудно с ним разговаривать. Лена Анисимова или Юра Моисеев – эти понимают её с полуслова. Лена, правда, вначале пыталась спорить, доказывала, что её метод вообще некорректен, но потом смирилась и результаты у неё пошли в гору. Даже первой в лаборатории защитила кандидатскую. И ведь сделала отличную работу. Руководитель, если надо, должен уметь быть твердым. И никогда не вмешиваться в мелочи. Каждый её сотрудник обязан быть специалистом в своей области, он сам отвечает за свои результаты, она же может позволить себе быть дилетантом. Зато создание концепций – это её прерогатива, и тут никто не должен вставать на её пути.

– Женя, – всё так же вкрадчиво говорит Евгения Марковна, – вы знаете, что такое диссертация? Это завершённое исследование. Обязательно с выводами. Этап в научном процессе, но непременно завершённый. Потом вы сами или кто-то другой можете пойти дальше, изменить сегодняшние выводы. Исследование ведь бесконечно, а путь к абсолютной истине лежит через множество относительных. Вы ведь изучали диалектику. Но сейчас вам надо остановиться. Написать, наконец, диссертацию. Вам уже за тридцать, пора.

Женя Кравченко, однако, не склонен к изысканным и отвлечённым разговорам.

– Но ведь это нечестно. Измочалили чужую теорию, а теперь в кусты.

– Как вы можете, Женя? Вы же человек с высшим образованием, – от возмущения лицо Евгении Марковны покрылось красными пятнами, тонкая нить диалога оборвалась, и на мгно-

вание она потеряла дар речи. – Нет уж, хватит. Терпеть это больше невозможно, – мысленно вскипела она.

– Женя, у вас есть семья?

Евгения Марковна знает про Женю Кравченко всё. Он приехал в Москву из Ростова, живёт с женой и дочкой в коммунальной квартире в комнате в четырнадцать квадратных метров. Жениной дочке два с половиной года. Он водит её в ясли. Девочка часто болеет, жена сидит на больничном, они с трудом сводят концы с концами. До того, как пришел к ней в лабораторию, работал в другом институте. Диссертацию не защитил из-за конфликта с прежним руководителем. Как и сейчас, забраковал свой материал и так же упрямо отстаивал своё мнение.

Когда Женя впервые пришел к Евгении Марковне, её подвела гордыня – она верила в свою непогрешимость. Впрочем, нет, это только сейчас ей так кажется, а тогда она просто понадеялась, что прошлый опыт пойдёт Жене на пользу, что он образумится и станет как все. Забудет о диссидентстве. Жене давно пора взяться за ум и выйти в люди. А для этого необходима диссертация. Без нее в науке нечего делать. Это знают все, и все, как один, подчиняются неписаным правилам. Только он строит из себя Дон-Кихота.

– При чём здесь моя семья? – хрипло спрашивает Женя. В глазах у него вспыхивают недобрые огоньки, желваки перекатываются по скулам.

«Фанатик» – безнадежно думает Евгения Марковна, и в душу её закрадывается страх. Его не переубедить. Этот безумец может всё погубить. Надо тихо от него избавиться.

– Я могу отвечать за вашу диссертацию, только если вы прекратите ловить блох и станете излагать реальную концепцию. Ставить новые эксперименты до защиты я вам запрещаю! Подумайте, Евгений Иванович.

«Должен же он подумать о своей семье», всё ещё надеется Евгения Марковна, «Должен же сдать».

Но Женя молчит, и в глазах всё то же выражение упрямой решимости. Только лицо пылает.

«Глупец», думает Евгения Марковна, «Каков глупец. Бессмысленный бунтарь... Бессмысленный...»

– Я все понял, – говорит он наконец и встает. – Вы предлагаете мне или лгать, или уйти.

На следующий день Женя подал заявление об уходе. Евгения Марковна еще пыталась с ним поговорить, пыталась переубедить – Женя был редкий экспериментатор, но он упорно стоял на своём.

Кравченко ушёл в другой институт, но и там у него не сложились отношения с заведующим. Он по-прежнему вместо того, чтобы приспособливаться к людям и к обстоятельствам, продолжал старомодно цепляться за принципы. Одним словом, был прирождённым неудачником...

Евгения Марковна встретила Женю лет через шесть. Он был в грязной спецовке, вокруг глаз – паутина преждевременных морщин, лицо – желтоватое и несвежее, а виски изрядно поседел. Одним словом, время поработало над ним куда более жестоко и старательно, чем над кем-либо другим из сотрудников лаборатории. Только в глазах, несмотря на усталый вид, Евгении Марковне почудился прежний упрямый блеск.

– Где вы сейчас, Женя? – поинтересовалась она, потому что, хотя и была профессором, но при этом оставалась женщиной, и притом весьма любопытной.

– Производителем, – смущенно и уклончиво ответил Женя. Он явно не желал откровенничать.

– И много у вас детей? – с наивным видом спросила Евгения Марковна. Она знала, что ничто так не растапливает лёд отчужденности, как солоноватая шутка.

Но Женя не принял её шуточный тон.

– Работаю на стройке, крановщиком.

– Вы довольны? – не унималась Евгения Марковна. – Интереснее, чем у нас? Зарплата, наверное, раза в два больше?

– Даром рабочим деньги не платят. Вкалывать на морозе – это совсем не то, что сидеть в кабинете и писать статьи. Да и дома мы строим настоящие, а не воздушные замки.

– Ну, положим, насчёт качества вам тоже хвалиться рано, – примирительно заметила Евгения Марковна.

– Как везде.

– А к нам не пойдёте назад? Диссертация у вас почти готовая. Материалы так и лежат. Вас ждут.

Записи Жениных экспериментов и в самом деле по-прежнему хранились в выцветших от времени и солнца, пропитавшихся пылью папках. За прошедшие годы их только однажды коснулась человеческая рука, потому что оказалось, что никто, кроме Жени, не может прочесть эти ленты, испещрённые торопливой Жениной рукой. Расставленные знаки и пометки, где русские буквы странно были перемешаны с латинскими, превратились без него в таинственные знаки каббалы, давно всеми забытой.

К тому же, до последнего времени Евгения Марковна, словно Кощей бессмертный, берегла эти ленты от чужих глаз, а ей самой язык внутриклеточной активности, неожиданных всплесков нейронов и электрических волн возбуждения, натриевых и калиевых потоков был почти так же недоступен, как язык окаменевших останков доисторических животных, или древних черепков, отрытых в культурном слое прошедших тысячелетий, ибо профессор Маевская вовсе не владела методами исследования, использовавшимися в её лаборатории. Да её уже давно и не интересовали методические тонкости – она постепенно отрывалась от грешной земли, где другие ставили для неё эксперименты, и налаживали новые методы. Давно парила в горной выси, среди чистых и отвлечённых идей. Скорее, одной идеи. Правда, если бы её теперь спросили, в чём эта идея состоит, она не сумела бы ответить коротко и точно, потому что идея эта все больше расплывалась и теряла чёткие очертания. Так бывает с путником в неведомой стране. Где-то вдаль он видит похожий на чудо, прекрасный замок, с высокими и могучими стенами, стрельчатыми арками окон, величественным порталом и устремленными ввысь башнями. Он идет к этому замку, любуясь его стройными и гордыми формами. Но по мере того, как путник подходит ближе, пригрезившийся замок, будто мираж, рассыпается на глазах: вот становятся видны огромные трещины, кучи битого кирпича, заросшие травой проемы окон, обвалившийся портал, и, наконец, вместо чуда путник видит лишь груды старых развалин. То же происходило и с гипотезой профессора Маевской, которую сама Евгения Марковна слишком смело величала теорией – она всё больше превращалась в нагромождение плохо согласующихся между собой фактов. Увы, то была *судьба не только её теории, потому что все лже теории подчиняются общим законам.*

Хотя Женины ленты с записями экспериментов так и лежали нетронутыми, а сам он почти шесть лет не работал в лаборатории, профессор Маевская по-прежнему продолжала использовать его материалы, правда, только те, что были расшифрованы и обчислены самим Женей. Публиковала по две-три статьи в год. Статьи эти делались хорошо известным в науке способом – одни и те же данные, только в разных сочетаниях, и обработанные слегка по-разному, кочевали из одной статьи в другую. Пожалуй, Евгения Марковна могла бы спокойно использовать их ещё лет десять, но незадолго перед тем, как она встретила Женю, ей принесли статью двух молодых голландцев. Они Те неопровержимо доказывали, что оба механизма – и тот, что был описан Андреем Платоновичем, и другой, за который так упорно ратовала профессор Маевская, – могут вести к развитию аритмий. В сущности, обе теории содержали в себе зёрна истины и дополняли одна другую, а голландцы лишь соединили эти две теории, так долго противопоставлявшиеся одна другой.

Евгения Марковна была поражена в самое сердце. Ведь эти двое голландцев не получили никаких принципиально новых данных. Все нужные для этого открытия факты давно имелись у неё. Но она упорно проходила мимо очевидного. Нет, она, наверное, была не глупее этих голландцев, да и вывод, что сделали они, давно носился в воздухе и напрашивался сам собой. Быть может, прислушайся она раньше к Жене, дай сделать ему новые эксперименты, прояви непредвзятость, и вовсе не голландцы, а она, профессор Маевская, сделала бы открытие. Но вместо этого она поспешила отвергнуть теорию Бессеменова, заставила молчать Женю, безжалостно зажимала всех, кто отстаивал значение механизма кругового движения, уцепилась за первые же полученные результаты и упорно не желала опубликовать другие – и всё это только затем, чтобы сейчас её обошли. О, боже! А ведь в последние годы она даже не удосужилась серьёзно перечитать монографию Андрея Платоновича. Если и открывала её, так только затем, чтобы отыскать в ней ошибки и несостыковки. И всё-таки в глубине души боялась – да, да, боялась, – что профессор Бессеменов, чьи педантичность, трудолюбие и честность в своё время вошли в поговорку, человек, несомненно, огромного таланта, может оказаться прав. Не потому ли она так отчаянно, так жестоко боролась, старалась вытравить из памяти даже его имя, даже упоминание о нем, что боялась, что смертельно боялась? «Помышление сердца человеческого – зло от юности его».

Тщеславие и самомнение сыграли с ней злую шутку. Да, она сама загнала себя в угол, сама выставила себя на посмешище. Её обошли, и обошли только потому, что она не хотела идти вперёд. Увы, теперь больше не имело смысла обманывать ни себя, ни других. *Finita la comedia*.¹⁸ Теперь противники, принуждённые к молчанию, поднимут головы, недоброжелатели и завистники станут смеяться над ней, а друзья и покровители отвернутся.

В том, что её научное реноме пошатнулось, Евгения Марковна убедилась очень скоро. Евгению Александровичу Постникову, конечно, тут же доложили об этой злополучной статье – у профессора Маевской в институте достаточно доброжелателей. Постников ей ничего не сказал, – он человек интеллигентный, – напротив, продолжал приветливо и ласково улыбаться, но взгляд его сразу потускнел, подёрнулся холодком безразличия. Таким взглядом смотрят только на неудачников. И в очередной статье Евгении Марковны он решительно вычеркнул из списка авторов собственную фамилию, благородно отказался от чести, которую якобы не заслужил. Было слишком очевидно, что он больше не хочет связываться с теорией профессора Маевской своё имя. Тут же редакция одного из журналов, придравшись к мелочам, о которых раньше бы и не заикнулась, с извинениями (пока ещё с извинениями) вернула статью её сотрудников – впервые со дня создания лаборатории.

Что же, бег времени неумолим. Проходит слава, забывается успех. Одни теории сменяются другими. В этом – диалектика, закон отрицания отрицания. Распад...

Только рано. Слишком рано все вообразили, будто профессор Маевская больше не сможет подняться, будто первая же неудача сломит её. Её теория устарела? Её упрямство смешно? Что ж, она стиснет зубы, наступит на горло собственной песне, и отступит. Но ровно настолько, насколько неизбежно отступление. Ни шагом больше. Только в электрофизиологической части. Всё остальное попытается сохранить, лишь слегка переделав. Ни одной позиции не сдаст без боя. Даже если она в чём-то ошиблась, в самом главном её теория верна! Не может быть неверна! Ведь иначе всё, что она делала, было бы ложно, а этого не может быть, да и другого выбора у неё нет, и вовсе ни к чему ей посыпать свою голову пеплом. Она еще покажет себя. Ещё многое можно наверстать. Но для этого ей, как воздух, нужен Женя...

С тех пор, как он ушёл, электрофизиологическое направление в лаборатории захирело. На Женином месте работал теперь Витя Потапов. Он ничем не выделялся, с Евгенией Марковной никогда не спорил, и вполне благополучно приближался к защите диссертации. Но экспе-

¹⁸ Комедия окончена (лат.).

риментатор Витя был неважный, работал неаккуратно и, кажется, сильно подгонял результаты под её теорию. Однако Евгения Марковна молчала – не решалась проверить его данные, вовсе не хотелось скандала. К тому же, честно говоря, её вполне устраивали и сам бессловесный Витя, и его результаты. Но теперь Женины исследования, которые профессор Маевская когда-то опрометчиво поторопилась запретить, необходимо было срочно возобновить. Пора было вытащить из небытия, из пыльных, выгоревших на солнце папок, его последние, неопубликованные работы. Чтобы знали, что и она шла в том же направлении, просто голландцы слегка опередили её. Зато у неё куда более обширные исследования. А это мог сделать только Женя. Евгения Марковна даже поручила Юре Моисееву разыскать и переговорить с ним, хотя сердце её по-прежнему к Жене не лежало. И вдруг встретила его сама.

И вот он стоял перед ней и от неожиданности и волнения лицо у Жени вспотело, пошло красными пятнами, а в глазах на мгновение мелькнула почти детская растерянность. Но тут же это выражение растерянности исчезло, сменившись хорошо знакомым Евгении Марковне выражением непреклонности и упрямства.

– На одной невесте два раза не женятся, – голос Жени прозвучал так же глухо и тоскливо, как в тот роковой день, почти шесть лет назад. Женя сам это почувствовал и поэтому добавил торопливо:

– Нет, спасибо. Ни к чему мне это всё начинать сначала.

– Подумайте, Женя. У вас почти готовая диссертация. Вы же так любили науку.

– Науку я и сейчас люблю. Только где же она, наука? – Евгения Марковна так и не поняла, хотел ли Женя уколоть её, или просто продолжал вслух свой нескончаемый спор с самим собой. Женя извинился и быстро ушёл. Даже разговаривать больше не стал. Профессор Маевская осталась одна.

ГЛАВА 6

Никогда раньше Евгения Марковна не верила в приметы. Но в тот ласковый, солнечный майский день (всё кругом неистово, радостно, в одну ночь зазеленело, теплый воздух казался целомудренно чист, небо безоблачно голубело, и птицы, эти первые вестники весны, с самого рассвета неутомимо щебетали) она проснулась с неясной тревогой в груди, словно предчувствовала недоброе.

Накануне она вернулась из Варшавы, где целых две недели находилась в научной командировке. Дел у неё в этой поездке было на редкость мало, и Евгения Марковна с особенным удовольствием предавалась отдыху. Бродила по ярким, шумным весенним улицам, наслаждалась обилием цветов, заходила в костёлы, в музеи, подолгу любовалась картинами художников на Старом месте, ела пирожные в маленьких кондитерских, не торопясь ходила по магазинам. Здесь, в Варшаве, не было такой суетливой, вечно спешащей, взвинченной, издёрганной толпы, как в центральных московских магазинах. Здесь никто не толкался и не выказывал нетерпение, а продавщицы все без исключения были вежливы и благодарили за покупки. Европа. И Евгения Марковна с удовольствием стояла в недлинных очередях, купила себе кофту с капюшоном, какие в Москве ещё только входили в моду, великолепную вышитую блузку в частном магазинчике на Маршалковской, в самом центре, модные сапоги, костюм, кучу разной косметики и тканей, благо денег было предостаточно – польские знакомые с удовольствием давали в долг до встречи в Москве.

Хождение по варшавским магазинам доставляло Евгении Марковне такое удовольствие, что она забрела даже в «Смык», магазин для детей, где тоже было не по-московски спокойно и уютно, а маленькие варшавяне за маленькими столиками чинно ели мороженое.

Евгения Марковна бродила по этажам, невольно сравнивала «Смык» с безумно переполненным, позорно толкучим «Детским миром», любовалась детскими вещами, хотя ничего не собиралась покупать, и испытывала едкую, щемящую грусть оттого, что у неё самой детей никогда не было. И вообще никого у нее не было, если не считать дальних родственников, раз или два в году нарушавших её покой и привычный порядок в четырёхкомнатной восьмидесятиметровой квартире на проспекте Вернадского.

К родственникам Евгения Марковна никаких чувств не испытывала – это были чужие люди из чужой, далекой ей жизни. Чаще других бывал у неё дядя Гриша – старомодный провинциальный учитель в давно вышедших из моды очках, в неизменном, пахнувшем нафталином черном костюме, лоснящемся галстуке и старых туфлях. В Москве этот дядя Гриша в основном безуспешно ходил по редакциям (в самом этом хождении Евгении Марковне казалось что-то унижительное), и с неожиданной для него навязчивостью, ибо вообще-то он был человеком скромным, заставлял Евгению Марковну читать свои опусы. Мечты о литературной славе много лет назад лишили Григория Наумовича покоя, и он, вместо того, чтобы давать частные уроки в свободное от работы время, а был он учителем русского языка и литературы, не разгибаясь сидел за столом и писал. Писал он почему-то про фабрику, на которой никогда не работал, его герои и героини с ущербной односторонностью мечтали только о том, как бы выиграть соцсоревнование, и без конца боролись и побеждали бюрократа-директора и нескольких злостных прогульщиков, чтобы в следующем опусе начать все сначала. Чтение творений Григория Наумовича вызывало у Евгении Марковны чувство физической тошноты и неловкости. Она никак не могла постичь, как человек, с таким неразвитым вкусом и примитивным пониманием литературы, мог тридцать пять лет преподавать в школе, и чему, кроме отвращения к отечественным писателям, мог этот догматик от литературы научить своих учеников. Но факт оставался фактом – Григорий Наумович считался лучшим педагогом в школе, и ему из года в год поручали выпускные классы.

Сам Григорий Наумович был уверен, что пишет о том, что требуется, причем не хуже других, и что раньше или позже его обязательно напечатают, причём не только в их местном литературном альманахе, где очередь была на десять лет вперед, но обязательно в каком-нибудь центральном журнале. В качестве доказательства он выкладывал толстую пачку пронумерованных писем из редакций всех толстых журналов: рецензенты, словно сговорившись, вежливо журили его за отдельные художественные промахи, советовали как следует переработать материал и в один голос одобряли его активную гражданскую позицию и актуальность избранной им темы в свете очередных решений. Эти вежливые и ничего не значащие письма воспаляли в Григории Наумовиче медленно угасающие надежды и он, воспрянув духом, в очередной раз перекраивал свои творения, тщательно подгонял к каждому новому почину, о котором читал в газетах, и снова и снова приезжал в Москву, чтобы пол-отпуска проходить по редакциям.

Вместе с Григорием Наумовичем приезжала и его образцово-показательная жена Малка – крикливая, толстая, с астматической одышкой. Она одна никогда не сомневалась в таланте Григория Наумовича, самозабвенно следила за его диетой, ежедневно ходила в магазин и на рынок и, пока её талантливый супруг витал в эмпиреях, тяжело пыхтя, задыхаясь, грузно переваливаясь на отёчных ногах, без всяких такси таскалась из конца в конец по сумасшедшим московским универсам, доставала «трапки» для всех своих ближних и дальних родственников, пока хватало сил и денег, а потом разбитая, с мокрым платком на голове (давление прыгало за двести), с оханьем и вздохами лежала на диване, проклиная и эту треклятую, бешеную Москву, и проклятый дефицит, и нахалов-родственников, которым всем что-то нужно, и торжественно клялась, что ноги её больше в Москве не будет, а в промежутке между вздохами завистливо, хотя и без злобы, разглядывала мебель, книги в дорогих переплётках, и особенно японский, китайский и мейсенский фарфор, богемский хрусталь и столовое серебро. Всё это добро стояло нетронутым после смерти мужа Евгении Марковны Григория Ильича.

Григорий Ильич, согласно его собственным рассказам, престаивал в прошлом могучей лавиной, неудержимым вихрем, огнедышащим вулканом, Дон-Жуаном и Казановой в одном лице, прекрасным, как Аполлон, но с мышцами и чреслами Геракла. Женщины сходили по нему с ума и приносили в дар молодость, целомудрие и рассудок, он же боготворил их всех, и для каждой доставало ему и страсти, и ласки, и нежных слов. За бурную жизнь до Евгении Марковны он сменил три жены, а возлюбленных и любовниц – Григорий Ильич давно сбился со счета, потому что любил женщин не меньше, чем предок его, легендарный царь Давид (не верите – как хотите, попробуйте доказать обратное).

Первая жена его была еврейка с библейским именем Юдифь – нежная, благоухающая, с бархатной тёплой кожей и глазами, похожими на миндаль. Была она невелика ростом, с широким тазом, предназначенным для обожания и родов, и маленькими мягкими грудями, будто двойня газели.

Вторая жена была кореянка Роза – смешливая Чио-Чио-Сан, с раскосыми глазами, прекрасная и манящая, как восход. Волосы её пахли свежестью и лавандой, а щеки, смуглые и нежные, были как спелые персики. Никого он так не любил как Розу, и не было ей равных в любви.

Третья жена Григория Ильича была полька – гордая и неприступная, будто королева, с лицом, словно из тёплого, белого мрамора, с небесной голубизной в глазах, и со светлыми, как лён, волосами. Была она так неприступна, что Григорий Ильич едва не умер у её ног – не помогали ни цветы, ни нежные слова, ни стихи Соломона, ни рубаи Хайяма, ни серебряные китайские ожерелья. Чтобы покорить неприступное сердце Кристины, пришлось Григорию Ильичу выучить наизусть Мицкевича, а в помощь ему призвал он бриллиантовое ожерелье, и вазу из китайского фарфора, и Мариакский собор из чистого серебра в миниатюре, и много чего ещё. В конце концов, Кристина сдалась, но любовь их, увы, была недолгой.

Имелось у Григория Ильича четыре сына и одна дочь от любимой жены – корейки, и её он любил больше всех на свете.

Много лет Григорий Ильич служил директором комиссионного магазина, и так как в торговле отличался такой же предприимчивостью, умением и неустойчивостью, как в любви, стал богат, как Крёз. Но и этого мало – Григорий Ильич был еще галантен, красноречив и изыскан, превыше всего ценил умную беседу, гривуазную шутку, лёгкое вино, утончённые и обильные яства, и, хотя стал немолод, ничто так не ценил, как общество красивых женщин.

Но это все в рассказах, будто из «Тысячи и одной ночи», а в тысяча девятьсот шестьдесят шестом году, когда Евгения Марковна повстречала его на водах в Кисловодске, лучшие годы Григория Ильича оставались далеко позади. От блистательного прошлого он сохранил лишь привычку к утончённому гурманству, куртуазность манер, и невообразимое в советской стране богатство. Страсти в нём уже начинали угасать, из неотразимого бонвивана он неуклонно превращался в философа, умеющего наслаждаться созерцанием с тем же пылом, с каким прежде наслаждался обладанием, а его единственной настоящей страстью всё больше становилось коллекционирование. Тут ему, пожалуй, не существовало равных, потому что в коллекционировании он был так же удачлив и ненасытен, как в лучшие свои годы – в любви. Собирал он сразу и хрусталь, и фарфор, и бронзу, и старинные книги, и иконы, и картины, особенно же предпочитал обещающие солидные дивиденды в будущем полотна модернистов.

В Кисловодске Григорий Ильич лечился водами от начинающегося ожирения и одышки. Познакомившись с Евгенией Марковной, он принялся ухаживать за ней с таким размахом и пылом, какой трудно было заподозрить в этом преждевременно обрюзгшем, грузном человеке. И, странное дело, она была выбита из колеи, потеряла голову, и скоро уже не могла, то есть, конечно, могла, но не хотела жить без его утонченной галантности, без стихов, музыки, цветистых комплиментов, без запаха французских духов и дорогого коньяка, без огромных букетов, подарков и бешеной, так что сердце замирало, езды на чуть ли не единственном в первопрестольной «Мерседесе». К тому же холодная, отданная науке и несбыточным мечтам молодость и одиночество жестоко мстили за себя. А он, Григорий Ильич, был будто волшебник, всё что угодно умел достать из-под земли, и именно с ним Евгения Марковна поняла, что браки воистину совершаются на небесах. Это был трогательный и нежный Союз Торговли и Науки, которым Григорий Ильич чрезвычайно гордился, ведь, хотя все три предыдущих его жены слыли невообразимыми красавицами, ни одна из них не была доктором наук. Несмотря на годы и на некоторую тучность, Григорий Ильич всё ещё был могуч, он только с виду казался потухшим вулканом. Их ночи были полны блаженства, а дни – дружбы и умиротворения, так не достававшего раньше им обоим. Любовь к своей прекрасной даме Григорий Ильич ознаменовал подвигом, перед которым бледнеют подвиги легендарного Геракла – он в месяц обменял две их квартиры на огромную четырехкомнатную, на проспекте Вернадского, да еще провернул ремонт, превратив запущенные Авгиевы конюшни в поистине царские чертоги.

К чести Григория Ильича надо сказать, что он был столь же преданным и любящим отцом, сколь неверным в прошлом мужем и любовником, и потому, вновь возлагая на себя ласковые узы Гименея, он щедро одарил детей, и написал в их пользу завещание. Это завещание, высокая должность Евгении Марковны, и отсутствие у неё собственных наследников, в известной мере примирили с ней не только многочисленных потомков Григория Ильича, но даже его бывших жён, так что Евгения Марковна даже иногда перезванивалась с ними по праздникам.

Но, увы, всему бывает свой предел, а счастье, или хотя бы обыкновенная удовлетворённость жизнью, особенно скоротечны. Так случилось и с Евгенией Марковной – Григорий Ильич лишь промелькнул кометой и исчез, оставив по себе золотой хвост. То ли слишком бурное прошлое, давняя привычка к гурманству, излишества любви, или жестокая ревизия на работе, а возможно и банальный склероз коронарных артерий, или всё вместе (о причинах оставалось лишь гадать), но семь лет спустя после вступления в четвёртый законный брак Григорий Ильич

внезапно скончался от инфаркта, оставив Евгении Марковне на память несколько хрустальных ваз, китайских и мейсенских блюд, два японских сервиза, несколько десятков фарфоровых статуэток, бронзового воина, несколько картин на стенах, и дачу под Москвой, а также фотографию в черной раме на стене над давно онемевшим беккеровским пианино из Германии, потому что играть Евгения Марковна не любила.

Ровно год спустя после смерти Григория Ильича, незадолго до памятной поездки в Варшаву, Малка в последний раз жадными глазами смотрела на мебель, на картины и фарфор, вздыхала – жалела Григория Ильича, говорила о его благородстве, и всё пыталась сосватать Евгению Марковну за своего брата, старого вдовца, служившего где-то в провинции бухгалтером. Но Евгения Марковна, из высокомерия и упрямства наотрез отказалась с ним знакомиться.

Потом и Григорий Наумович с Малкой перестанут приезжать, только станут присылать открытки к праздникам – жаловаться на жизнь, на старость и болезни. Эти открытки всегда будут нагонять на Евгению Марковну тоску. Хотя, возможно, дело вовсе не в открытках – просто Григорий Наумович всегда рассчитывал так точно, что открытки прибывали непременно в праздничные дни, а в праздники Евгения Марковна особенно остро ощущала свое одиночество.

Но тогда, в Варшаве, за исключением эпизода в «Смыке», Евгения Марковна чувствовала себя почти счастливой. В чужом городе, среди чужих людей она не испытывала одиночества, здесь никто ничего о ней не знал, для всех она была преуспевающей иностранкой, известным профессором из Советского Союза. К тому же все заботы сразу отступили, остались в Москве, и она превратилась в молоденькую любознательную туристку, открывательницу другого мира. Без труда Евгения Марковна выделила два дня, чтобы съездить в Торунь – старый город, уцелевший во время войны, со средневековым центром, узкими улочками, Ратушей и старинными костёлами, и в Мальборк, когда-то построенный крестоносцами. В Мальборк она решила поехать не сразу, несмотря на уговоры знакомого доцента-поляка, любителя истории и старины – боялась ненужных воспоминаний, возвращения в прошлое, в последний год войны. Тогда, несмотря ни на что, – ни на смерти, ни на кровь вокруг, ни на стоны раненых, – Женя была счастлива, ведь она любила (любила ли?) и была любима, и с каждым днём приближалась победа...

...Весной сорок пятого Женя впервые услышала это название: Мальборк. Борис получил письмо от матери – неровные буквы прыгали и падали, чернила расплылись от слез. Мать Бориса сообщала, что под этим самым Мальборком погиб его младший брат, Давид. В этот день, вернее, наступил уже вечер, они бродили среди тёмных, иссечённых снарядами, с изломанными ветками и торчащими из коры осколками, но всё же буйно зеленеющих аллей, и Борис всё вспоминал и вспоминал, какой был Давид, красивый, умный, смелый, и как все его любили. Потом он остановился, вытащил из внутреннего кармана гимнастёрки темноватую, полулюбительскую, с неровными краями фотографию. Женя видела её не раз – там они позировали все втроём: Борис, Давид и Аркадий, погибший под Сталинградом, вместе с родителями. Борис был похож на мать, высокий, с крупными и правильными, как у неё, чертами, а Давид и Аркадий – на отца: худощавые, длинноносые мальчишки, с мечтательными серыми глазами, и слегка оттопыренными ушами.

– Не знаю, как мама перенесёт. Она Давида больше всех любила. Он был самый младший. Огонь, красавчик, чуть в восемнадцать лет не женился, – в глазах у Бориса стояли слёзы, и он всё говорил, как будто, пока он говорил, Давид всё ещё был жив, пусть хотя бы лишь в воспоминаниях.

Городок, где они тогда стояли, тоже в Польше, только значительно южнее, был полуразрушен. Среди сохранившихся, со следами пуль и осколков, домов, с выбитыми, заколоченными

окнами, стояли голые, обгоревшие деревья, и тянулись к небу страшными призраками печные трубы. И Мальборк представлялся Жене таким же маленьким, наполовину деревянным, полусожжённым и пустынным. Однако сейчас в Мальборке ничто не напоминало о последней войне, словно он никогда не был разрушен, и словно бы сорок пять дней и ночей подряд не крошили старый, потемневший от времени кирпич советские орудия, выбивая из замка засевших там фашистов. Но всё было уже восстановлено – всё те же мощные стены в два метра толщиной, ворота на цепях, бойницы, могучие башни, внутренний дворик, и снова могучие стены арсенала – замок, по-прежнему, поражал воображение.

И только уже в поезде, едва закончилась посадочная суета, – а суета и толкотня были ужасные, так что Евгения Марковна едва не уехала без своих чемоданов – и застучали колеса, в ней вдруг снова, как в «Смыке», возникла неясная тревога – в груди что-то проваливалось и дребезжало, но это было не сердце. И по мере того как приближалась граница, тревога всё больше нарастала. Евгения Марковна, пытаясь отыскать причину, час за часом перебрала все две недели своей командировки, но в Польше всё было хорошо, она замечательно отдохнула и попутешествовала, несколько дней великолепно провела в Кракове и съездила в Ченстохов. Нет, причина тревоги находилась не в Польше. И тогда, всё глубже роаясь в себе, она откопала в подсознании: ей не хотелось возвращаться в пустую одинокую квартиру с непонятными, холодными картинами. Не хотелось идти на работу – там она, в сущности, никому не нужна, и всё идёт вовсе не так, как надо, совсем не так, как она мечтала, и она это знает, и все знают, но ничего уже изменить нельзя, потому что нельзя так просто взять и переиграть прошлое. И начать всё сначала невозможно, и нет уже ни времени, ни сил. А если бы и было время, если бы можно было перевести стрелки назад, в любом случае всё пошло бы точно так же, потому что она не умеет иначе. Каждый человек, как часы, имеет свой завод, а её часы полопались, и давно идут кое-как. И нет нигде такого мастера, кто мог бы перевести часы... Или исправить... И теперь ей только и осталось играть свою роль до конца.

Дома Евгения Марковна приняла ванну, потом долго сидела перед зеркалом – закручивала волосы, выщипывала брови, примеряла привезённые из Польши обновы, и с трудом обретала потерянное равновесие. Утром, как всегда, она вышла из квартиры, приветливо улыбаясь – эта улыбка, воплощавшая успех, давно была ею заучена, – и, шествуя так же легко (за походкой она следила особо), как тридцать пять лет назад, день в день, дата эта отчего-то запомнилась, когда она шла в парк Культуры на свидание с Колей, и на ней были лёгкие белые туфли и ситцевое платье, а навстречу шли мужчины и улыбались, и оглядывались ей вслед. И вот сейчас, будто ничего не изменилось за прошедшие годы, роскошное, улыбающееся, в кожаном пальто (кожа только входила в моду), в золотых серьгах с изумрудами, с золотыми кольцами на руках, чуть полноватое, но по-прежнему удивительно привлекательное, так что все по-прежнему оглядывались, воплощение успеха вошло в лифт, спустилось на первый этаж и вышло из подъезда.

Вдруг чёрный кот, выгнув спину, в два прыжка выскочил из кустов на дорожку и промчался перед самыми её ногами. В груди тотчас снова заняло от нехорошего предчувствия, Евгении Марковне захотелось вернуться домой, закрыть дверь, никуда не выходить и никого не видеть, но нужно было идти. И неловко было плюнуть через левое плечо – прямо в спину смотрели сотни окон, шторы шевелились, и за многими из них, без сомнения, находились люди. К тому же, как назло, на скамейке рядом сидели три старушки. Мгновение поколебавшись, но не дольше, чем это было прилично, Евгения Марковна так же гордо и легко пошла дальше.

На работу она, как всегда, немного опоздала, и первое, что увидела, войдя в обширный, с колоннами, отделанными под мрамор, институтский вестибюль, был портрет Постникова в чёрной раме, а рядом двух напряжённо и неестественно стоящих в почётном карауле

мэнээсов. Тотчас из канцелярии донеслись нестройные, траурные звуки труб – это настраивали свои инструменты музыканты.

– Боже мой. Нужно было сплюнуть, – мысль была явно суеверная и глупая, но отогнать её Евгения Марковна не могла. В ней снова возникло ощущение неотвратимой беды. – Что теперь будет? Кто станет директором? Только бы не Чудновский.

Но кто бы ни стал директором Института – это Евгения Марковна знала точно – никто не сделает для неё больше, чем Постников. Он в своё время даже пытался назначить её своим замом, так что несколько лет, пока наверху шла борьба, Евгения Марковна исполняла обязанности замдиректора, и только после злополучной статьи голландцев Евгений Александрович вынужден был отступить.

– А ведь сердце вещее, почувствовало ещё в Варшаве, – отметила про себя Евгения Марковна.

До траурного митинга оставалось часа полтора. Обменявшись положенными в таких случаях словами с несколькими встретившимися знакомыми, Евгения Марковна поспешно направилась к себе в отдел. Сотрудников, конечно, не было на местах. Все они собрались в биохимической у стола Юры Моисеева. Оттуда, сквозь незакрытую дверь, слышны были громкие, возбуждённые голоса, и выплывали густые кольца табачного дыма, которые закрывали, как стеной, говоривших. Обсуждали, естественно, последние события, и приход Евгении Марковны никто не заметил.

– Хотите пари, Юрий Борисович, кто будет новым директором? – возбуждённо предлагал Володя Веселов.

– Хорошо, семь к одному – за Чудновского против Лаврентьева, – соглашался Юрий Борисович.

– Юрий Борисович, да это же грабеж. У Лаврентьева, с тех пор как его поставили замом, рот не закрывается от улыбки. Из такого теста директора не делают, – веско произнёс Игорь Белгородский. – Нашей, конечно, лучше Лаврентьев, но её не спросят. А Чудновский мигом наведет порядок. Выгонит всяких Шуховых.

– Как бы и нашу, тоже... – судя по голосу, Юрий Борисович улыбнулся. – У неё тут с Чудновским однажды произошел инцидент...

Разговаривавшие замолчали и Евгения Марковна торопливо отошла от двери биохимической к своему кабинету, располагавшемуся напротив. Только тут она остановилась, потому что здесь её не могли заметить, и прислушалась.

– Она тут раньше его клевала, как могла, – на правах старожила перехватил у Юрия Борисовича инициативу инженер Волков. – Вот не пойму. Она вроде умная женщина, но отчего-то обожает шпынять людей. Без всякого смысла. То напустилась на покойного Бессеменова, выжила из-за него Кравченко. А то на конференции накинулась на Чудновского. Он весь взмок тогда из-за неё. Жалкий вид имел. А ведь если посмотреть, у самой-то рыльце всё в пуху...

– Притом у Чудновского работа была не хуже, чем у других, – перебил его Юра Моисеев. – Просто наша увлеклась. А уж если она увлечется... Тут раньше в институте работал профессор Варшавский. Так он, бывало, как начнет выступать, сразу всё на свете забывает. Как-то так увлёкся, что стал критиковать Постникова. А Постников этак элегантно, на английский манер, заснул, прямо как в палате лордов...

Это был старый институтский анекдот, давно вошедший в анналы местной истории. Он передавался от поколения к поколению, и при передаче давно произошла контаминация – на самом деле, Постников притворился спящим совсем не в тот раз. Впрочем, сейчас это не имело никакого значения.

Профессор Маевская тихо открыла дверь кабинета и сердито плюхнулась в кресло. Разговор сотрудников окончательно вывел её из себя. Минут пятнадцать Евгения Марковна никак не могла собраться с мыслями. Наконец, слегка успокоившись, схватилась за телефон, чтобы

позвонить Николаю Григорьевичу и узнать наверняка, кого прочат в директора в Академии. Но Николая Григорьевича Головина на месте не оказалось. Он уже выехал на похороны.

Было и в самом деле очень вероятно, что новым директором станет Чудновский, а это не предвещало Евгении Марковне ничего хорошего.

ГЛАВА 7

Евгений Васильевич Чудновский ныне в Институте не работал, хотя и оставался членом учёного совета. Почти пять лет он возглавлял Очень Важное Управление. Евгений Васильевич был человек практического ума, энергичный, пробивной, решительный, толковый организатор – когда-то он пришел в Институт ординатором к Постникову, но очень быстро вырос сначала до заведующего отделом, а потом и до заместителя директора по науке. В свое время это назначение попортило Евгении Марковне немало крови, потому что ко времени назначения Чудновского замом профессор Маевская находилась с ним в тайных контрах. К тому же, то был период её высочайшего взлета, ещё за несколько лет до статьи голландцев, когда она считалась ведущим патофизиологом-аритмологом, корифеем, законодателем и судьёй, и она сама втайне (впрочем, даже и не втайне, ведь говорила с Постниковым, и Николая Григорьевича просила похлопотать) мечтала о должности зама по науке. И, хоть и несбыточным казалось, втайне (вот это действительно, втайне, и об этом никогда, никому) подумывала о директорстве, ведь всякое могло произойти, а тут – всего лишь одна ступенька. Впрочем, хоть и ступенька, но размером в целый лестничный пролёт! Но это так, к слову. А тогда, пожалуй, даже и не от Постникова зависело, он и сам не очень-то хотел Чудновского. На Чудновского ему указали т а м. И потом Чудновский, пользуясь этой поддержкой (непонятно было, как он её добыл, но ведь добыл, в том сомневаться не приходилось), даже не очень считаясь с Постниковым, с кипучей энергией, что как острый нож директору, предложил реорганизацию Института. Этот его план опять-таки одобрен был в верхах, было принято решение о создании нескольких новых лабораторий, но дело, правда, так и не сдвинулось с места, потому что Постников, на словах соглашаясь с Чудновским, сколько мог, старался затормозить. Он ведь знал, что новые лаборатории будут против него, за Чудновского. И при первой же возможности поспешил избавиться от самого Евгения Васильевича, правда, так же деликатно и красиво, как всегда умел это делать, – рекомендовал своего слишком деятельного и нетерпеливого зама на оказавшееся вакантным место начальника этого самого Очень Важного Управления. После ухода Чудновского Евгений Александрович вздохнул было с облегчением, наслаждаясь собственным тонким ходом, как любит хитроумный шахматный игрок, загнавший противника в ловушку. Однако победы не последовало. Чудновский продолжал незримо присутствовать в Институте, десятки крепких ниточек тянулись от него к членам учёного совета, он обо всём знал, всё умел предвидеть, и ни одно по-настоящему важное решение не принималось без его ведома и тайного одобрения.

В противовес Чудновскому Евгений Александрович замыслил было новую комбинацию: решил сделать своим заместителем профессора Маевскую. Это была его старая политика хитроумных противовесов, вариант английской «разделяй и властвуй», за многие годы отработанная Постниковым до блеска. Но, на сей раз, тонкий план директора не осуществился. Чудновский и здесь победил, воспрепятствовав утверждению Евгении Марковны. Почти три года она пробыла исполняющей обязанности. Сколько за это время потратила сил и нервов, сколько обивала порогов, пустила в ход все свои старые связи и, в первую очередь, Николая Григорьевича. Николай, впрочем, на сей раз вёл себя исключительно осторожно, но и Григорий Ильич, волшебник в своем роде, который умел всё, немало для неё постарался, даже пожертвовал кое-чем из антиквариата – и всё напрасно. Её так и не утвердили. Как утверждала потом сама Евгения Марковна – из-за пятого пункта и происков Чудновского, хотя, конечно, понимала, что тут всё было много серьезней, слишком уж разные переплелись силы, да и главная ставка уже была видна – Институт, после Постникова, конечно. И силы эти, в конце концов, сошлись на устраивавшем всех безынициативном, аморфном канцеляристе Лаврентьеве. Хотя Лаврентьев оказался не так уж глуп. Чувствуя свою слабость, он сделал ставку на Чудновского.

Однако за последующие три года, с тех пор как Евгения Марковна получила отставку и должна была распрощаться со своей мечтой, сложное уравнение упростилось: на доске оставалась лишь одна крупная фигура, и фигурой этой был Чудновский.

Столкновение с Чудновским произошло у Евгении Марковны года через два или три после её прихода в Институт. В ту пору Евгений Васильевич не был еще ни академиком, ни профессором, ни заведующим отделом или лабораторией – обыкновенным, не лучше, хотя и не хуже многих, старшим научным сотрудником, и никто не предсказывал ему головокружительную карьеру. Правда, Чудновский стал к тому времени секретарём парткома, но только потому, что другие отказались: в Институте секретари менялись относительно часто и особой роли не играли, так что Евгения Марковна в душе относилась к Чудновскому несколько свысока. Он казался ей выскочкой, и не без основания, а выскочек она недолюбливала. И вот, на научной сессии института (не могла же она предвидеть, кем в скором времени станет Чудновский), Евгения Марковна по-хулигански (да, да, именно по-хулигански, тут Постников был совершенно прав, и она даже не стала с ним спорить), раскритиковала в пух и прах его доклад. Доклад этот и в самом деле был не ахти какой, в нём не было ни четкой логики, ни методической цельности, а выводы, совершенно очевидно, притянуты за уши. Все это, конечно, так, но зачем же ей потребовалось огульно отвергать всю работу, тем более, что это была его докторская. К тому же не обошлось без колкостей и в адрес самого Чудновского.

О, боже, какой у него был тогда взгляд! Стоит только вспомнить – мороз дерёт по коже. Лицо – сплошная маска ярости, глаза сверкали по-волчьему, казалось, он готов был её задушить. Чудновский даже дышал тяжело и прерывисто, а руки ладони (она это очень хорошо помнит, Чудновский сидел в первом ряду, рядом с трибуной) непроизвольно сжимались в кулаки. Потом, когда она закончила свою пламенную речь, он тяжело поднялся, и нерешительно, боком, взошел на трибуну. В то время Чудновский ещё не умел (как потом, когда станет директором Института и начальником Очень Важного Управления) стоять на трибуне, словно Господь Бог, или, по меньшей мере, как Его представитель в Институте, засунув левую руку в карман, величественно и сурово сдвинув брови. И никто ещё тогда не вслушивался в его слова, напрягая слух, подавшись вперёд от внимания и усердия, будто сам божий глас исторгает его уста. И сам Чудновский не был в то время так уверен в себе, и не знал, что не может ошибаться, и что его устами говорит сама истина, и поэтому растерялся, лепетал что-то не очень убедительное, и, сам это почувствовав, пообещал внести в свою работу многочисленные исправления. Из-за этого афронта Евгению Васильевичу пришлось потом всё основательно переделывать, и защиту докторской отложить чуть ли не на два года.

Сам Чудновский об этом случае вслух никогда не вспоминал, но в Институте о нём говорили долго. С возвышением же Евгения Васильевича разговоры эти возобновились снова, обрастая немислимыми подробностями. В самом фантастическом виде они достигали ушей Евгении Марковны, и, кто знает, быть может и Чудновского тоже, подливая масло в огонь его давней нелюбви.

Когда Чудновский стал замом по науке, Евгения Марковна начала подумывать о примирении, но он держался корректно и отчуждённо, и Евгении Марковне так и не удалось перешагнуть через воздвигнутую им стену. Потом Чудновский ушёл из Института, и гора свалилась у неё с плеч. Они так и расстались врагами, по крайней мере, Евгения Марковна ненавидела и боялась Чудновского, хотя за прошедшие после её выступления семь или восемь лет, они ни разу не сказали друг другу ни одного невежливого слова.

На траурном митинге Чудновский выступал вторым, сразу после президента Академии медицинских наук, и это было признаком вполне определённым и дурным. Но мало этого, его выступление оказалось к тому же очень обидным для Евгении Марковны. В траурной речи Чудновский говорил не только о Постникове, но и о главном его детище – Институте, цитадели

науки и кузнице замечательных кадров, перечислил всех ближайших сподвижников покойного, стоявших у руля институтской науки, не забыл никого, даже Шухова, одну только Евгению Марковну не упомянул. Шёпот тотчас пробежал по траурным рядам – шептали, несомненно, о её опале. Только рядом с Евгенией Марковной всё было тихо, никто не сказал ни слова – это была зона отчуждения, вакуум, в котором ей впредь предстояло задыхаться, жить и страдать, и из которого уже не суждено было вырваться. Но профессор Маевская ещё не хотела в это верить, ещё надеялась на чудо, хотя и знала, что в жизни чудес не бывает, и потому отыскала взглядом Николая Григорьевича Головина. Он стоял рядом с президентом и Чудновским, почти у самого гроба, чуть склонив голову, и немигающим взглядом смотрел в пространство, в вечность, отстранённый от мелочной суетности бытия.

Едва все положенные речи были произнесены, и Лаврентьев объявил митинг закрытым, перед самым выносом гроба произошла заминка в дверях, – люди торопились выйти, чтобы занять места в автобусах. Николаю же Григорьевичу возраст и мысли о вечном не позволяли двигаться слишком быстро, и потому Евгении Марковне удалось перехватить его у двери. Они отошли чуть в сторону, пропуская бурлящий людской поток.

– Коля, уже решено? – одними губами спросила Евгения Марковна.

Николай Григорьевич понял её с полуслова и торопливо кивнул головой.

– Постарайся наладить с ним отношения, – на одно мгновение сочувствие мелькнуло в его взгляде, но тут же он отвернулся, и слишком торопливо попрощался. В этой его поспешности заключалось что-то нехорошее, даже трусливое, как и в том, что Николай не предложил ей место в автомобиле.

Толпа схлынула. Евгения Марковна осталась в институтском вестибюле одна.

– Постарайся наладить с ним отношения, – машинально повторила она слова Николая Григорьевича, и вдруг все неприятности сегодняшнего дня снова нахлынули на неё. Ей захотелось разрыдаться, как не рыдала целых тридцать пять лет – с того дня в общежитии в Уфе, когда она сидела в холодной, нетопленной, тесно заставленной кроватями комнате одна и читала – в сотый, а может быть, в тысячный раз, последнее письмо отца. Папа написал его в первые дни войны. Письмо было торопливое, сумбурное. Отец ничего ещё не знал, и написал на всякий случай, что они будут эвакуироваться и обещал через пару дней написать снова, уточнив пункт эвакуации. Это письмо, Хотя кругом рвались бомбы, взлетали на воздух поезда, горели города и умирали люди, это письмо дошло до неё и вот, Женя держала его в руках, перечитывала в который уже раз эти несколько последних отцовских строчек, и вдруг поняла, почувствовала душой, потому что знала и раньше, что это – последнее письмо, что больше писем ни от папы, ни от мамы не будет, никогда не будет – и она зарыдала, спазмы сдавили её до тошноты, до истерики, она никак не могла остановиться. Только время от времени, когда рыдание ослабевало, Женя целовала это последнее письмо и снова содрогалась от рыданий. Видно, тогда она так выплакалась, что потом никогда уже не было у неё таких слёз, к тому же и очерствела со временем. Но в тот день, когда хоронили Постникова, и она, в полном одиночестве, осталась в огромном институтском вестибюле – мгновенно отрезанный ломоть, мгновенно выброшенная, исторгнутая из сцепленного людского роя (а может, и раньше сила сцепления была так же ничтожно мала, но она в гордыне своей не замечала?), а с улицы через раскрытые двери доносился неясный, суетливый шум толпы, гул заводимых моторов, и вслед за ним, перекрывая этот шум, загремел похоронный марш, не только Постникова, но и её отрезая от живых, спазм сжал ей горло, и слёзы, две маленькие одинокие слезинки, покатались по её щекам.

Музыка медленно отдалялась. Шум на улице затихал. Те, кому не хватило места в автобусах, возвращались назад. И Евгения Марковна, чтобы никого не видеть, ни с кем не говорить, побыстрее вернулась в кабинет, закрыла за собой дверь, и снова, как утром, рухнула в кресло. К горлу всё ещё подступала тошнота, в висках стучало. Она с отвращением посмотрела в окно, на убогий институтский двор: унылое царство асфальта и камня, глухой забор, мрачное, почер-

невшее от времени здание вивария, бензиновая лужа перед самым окном, жалкие, полужасохшие деревца. Обыкновенный тюремный двор, а может, ещё хуже. Чувство тошноты усилилось.

Нехорошо получилось, что она не поехала на кладбище. Но никто не предложил ей место в автомобиле, а ехать в битком набитом автобусе Евгении Марковне было не к лицу. Да и ни к чему. И вообще всё, что бы она ни сделала сейчас, было ни к чему. *Произошла катастрофа.* Это был *конец* – растянутый на годы, но *конец*. Благополучие закончилось. Начинаясь *распад*. Вопреки всем законам диалектики, вопреки роли личности в истории. Стоило лишь умереть одному человеку. Сердце оказалось вещью, сердце знало, предчувствовало ещё в поезде. Это потом она забудет, и снова станет цепляться за жизнь, и снова захочет верить, или, вернее, забыться, не чувствовать ощущать катастрофу... – и даже Она забудется, и даже получит отсрочку, но в тот момент она поняла – конец...

– Постарайся наладить отношения с Чудновским, – повторила про себя Евгения Марковна. Слова эти были пусты и одновременно многозначительны, и имели только один смысл: он, Николай, отстранялся от их старой дружбы. Словно он уже оплатил свой долг. Вечный долг. Негодяй...

– Ну, это мы еще посмотрим. На сей раз так просто у него не получится. Убийца... Он думает, что я ему простила...

Застарелая ненависть колыхнулась в ней снова... Но тогда, да, тогда она ещё не умела (ведь не было ещё всех этих лет беспрерывных, мелких и больших, настоящих и выдуманных унижений, когда душа как кровоточащая рана, и сама, как загнанный на охоте зверь), да, не умела, как сейчас, ненавидеть... и Чудновского... и Колю... всех... и оттого очень скоро успокоилась, и в самом деле стала думать, что надо бы попробовать наладить отношения. Для начала хотя бы позвонить Чудновскому и выразить пожелание, чтобы в этот трудный для Института час он взял бразды правления в свои руки. Пообещать ему свою полную поддержку. В сущности, это никак не повлияет на его назначение. И всё ещё, может, образуется...

Но это была химера. И она осознала, что химера, потому что никогда не сможет позвонить... Да Чудновский и не станет слушать. Он слишком большой человек теперь. Несоизмеримо большой. Карлик, превратившийся в великана...

Так и сидела она, то погружаясь в мечты, то в ненависть, то забываясь в фантазиях, то снова возвращаясь в реальность. Сколько времени прошло, час, два, три? – когда в дверь неожиданно постучали. Это был Юрий Борисович Моисеев, старший научный сотрудник и доверенное лицо Евгении Марковны.

Он вошел, как всегда, бочком, словно робея перед ней.

– Я только с похорон, Евгения Марковна. Жутко все устроили. Нетактично. И речи, и давка ужасная. Я хотел вам сказать, мы все были возмущены выступлением Чудновского.

– Что говорят?

– Вчера Лаврентьев с Семеновым (секретарь партбюро) ездили к Чудновскому. Целый час просидели в приемной. И еще Шухов увязался с ними.

– Просили на престол?

– Чудновский, говорят, ничего определённого не сказал.

– Набивает себе цену. А что у нас?

– Да так, ничего особенного. Белогородский, кажется, ищет место старшего на стороне. На днях его видели в институте у Чернова. Потапов опять заперол несколько кроликов. Я специально смотрел, как он работает. Новый метод у него не идет.

Евгения Марковна досадливо поморщилась. Ей сейчас было не до Потапова.

– Спасибо, Юрий Борисович. У меня что-то болит голова.

– Да, я понимаю. Только с дороги, а здесь такое, – он вздохнул, осторожно открыл дверь, и бочком, как стоял, выскользнул в коридор.

ГЛАВА 8

– Ещё один удар, – с горечью отметила Евгения Марковна, едва за Юрием Борисовичем закрылась дверь. Теперь, как рефери на ринге, она повторила эту фразу снова.

Сейчас в том, что Игорь Белгородский, честолюбец и эгоист, уже тогда искал место – корабль ещё не дал течь, а он уже торопился его покинуть, – не было для Евгении Марковны ничего удивительного. Именно так и должно было быть. Им, этим молодым, не *идея* и не *дело* важны, а *место*. Её поколение было совсем иным. На нём лежал отблеск, неугасимый свет, ещё неиссякающая энергия революции и победы, а эти – конформисты и предатели, в них – уже не энергия, а усталая, на излёте, инерция истории, инерция разочарования. Безгласые, пришедшие слишком поздно, когда все лучшие места оказались заняты, а жизнь, хорошо ли, плохо ли, но раз и навсегда отлажена, минуя настоящее, с уныло копошащимися в нём людишками, из героического прошлого медленно перетекала в сверкающее фантастическое будущее, они только и умеют, что ловчить...

Но тут же, сквозь это старческое, брюзжащее, – да так ли они плохи? И разве Шухов – не её поколение? Ну, если не её, так перед ним. И те, другие, сажатели, истязатели, подлецы и негодяи – на них разве не падал свет?..

Но это сейчас, когда она – безнадежно поздно – умудрена опытом прожитых лет, поражений и тоскливых одиноких вечеров, в сущности, ненужным опытом (ведь всё равно отлучена и заключена в вакуум), она знает, что так и должно было быть. Но тогда это был удар, один из множества свалившихся на неё ударов. Значит, Игорь Белгородский уже не верил в неё, не верил её обещаниям и поставил на ней крест...

С клинической группой Евгении Марковне не везло с самого начала. Впрочем, не везло – не то слово; не повезти может в разумном начинании, здесь же с самого начала была авантюра. Вернее, вначале была мечта, а из этой мечты, как это нередко случается, выросла авантюра, «большой скачок», как съязвил однажды главный институтский острослов Ройтбак.

До поры до времени она свою мечту скрывала, потом решила поговорить с Постниковым, но Евгений Александрович воспротивился наотрез.

– Занимайтесь своим делом. В клинике вам делать нечего, – непривычно резко оборвал он. Пожалуй, приревновал даже. На том бы все и закончилось, но...

Евгения Марковна уже была исполняющей обязанности замдиректора, когда в Институт пришла телефонограмма. Рекомендовалось, а может, и приказывалось, – Евгения Марковна сейчас не помнит точно, – Институту выступить с почином. А Постникова как раз не было. Он бы, может, воспротивился и все уладил, он вообще не любил шумиху, но Евгении Марковне это оказалось в самый раз. Оставалось лишь собрать назначить день собрания, произнести заготовленные речи, и вот уже почин готов: «Ни одного изобретения без внедрения!». Почин, в общем-то, обыкновенный, но тут, одобренный кем-то свыше, почин подхватили, зашумели, взвизгнули фанфары газетного восторга, начались интервью и встречи с общественностью. Фотография Евгении Марковны, в целый разворот, появилась в журнале, правда, в самый последний момент, едва не став телезвездой, профессор Маевская должна была отойти в тень, уступив место вернувшемуся раздосадованному Постникову. Впрочем, к тому времени кампания уже шла на убыль. Внедрять оказалось нечего, да и сложно. Газеты, наскучив писать о внедрении, накинудись на новый, ещё более обещающий почин: «Рабочей инициативе инженерную поддержку», а о прежнем почине, сразу потерявшем актуальность, негласно велено было забыть.

Казалось, можно перевести дыхание и заняться делом, но вот тут-то только и стало ясно, что запущен был не обыкновенный мыльный пузырь, а выпущен из бутылки джин, что реакция цепная и вышла из-под контроля. На Институт началось нашествие. Тысячи больных, род-

ственников больных и просто любителей лечиться, впервые прослышавших про Институт, про *спазмолитин* и другие, созданные в Институте чудеса, устремились со всех сторон. В регистратуру с вечера выстраивались длинные очереди, как к мавзолею, за ночь страсти накалялись до предела, какие-то тёмные личности тут же в очереди торговали спазмолитином и мумиё, другие распространяли адреса знаменитых экстрасенсов и знахарей, толпа бушевала, кричала, не пропускала в двери сотрудников, требовала исполнить обещания, или хотя бы проявить милосердие. Но Институт оказался не готов: пугливо ошетикивался наглухо занавешенными окнами и вызванной на подмогу милицией; без направлений из министерства не принимали, и всё равно регистратура задыхалась, с регистраторшами чуть ли не ежедневно случались обмороки, то и дело вспыхивали скандалы – не Институт, а осаждённая крепость. Но даже сквозь заслон милиции прорывались страждущие. Смяв или подкупив вахтёра, они заполняли приённые, мешались, толкались, подкарауливали сотрудников на лестницах и даже в туалетах. К тому же, ежеминутно раздавались звонки, и по телефону тоже просили, умоляли, требовали, или распоряжались сверху. К полудню секретарши впадали в истерику, проклинали Евгению Марковну вместе с её рекламой и одна за другой грозились уволиться. Но еще хуже – письма. Их приходили неисчислимые тысячи, а между тем неясно было, кто должен на них отвечать. И пока между канцелярией и лечебной частью велись безнадёжные дискуссии, пока набирали штаты, пока обдумывали, что отвечать и согласовывали единую форму ответа, а потом утверждали эту форму в инстанциях, письма продолжали поступать как из кастрюли-скороварки – заваливали шкафы, столы, неразобранными грудями валялись на полу.

Негде становилось работать. Среди писем пропадали разные бумаги, приказы и инструкции, так что Постникову пришлось распорядиться все документы дублировать, и тогда с бумагами окончательно запутались. Институт оказался парализован, – требовались срочные меры, и Постников вынужден был просить райком разрешить вместо овощной базы отправлять сотрудников на разборку писем. Но и этого оказалось мало. Пришлось для каждой лаборатории установить специальные дни. Сотрудники роптали, раскладывали письма по ящикам, но что делать с ящиками дальше, никто не знал; пока же складывали их в подвале.

Но что письма – мелочь по сравнению с жалобами. Между тем, количество жалоб катастрофически росло, и вслед за жалобами на Институт низверглись комиссии. Их было так много, что работать стало окончательно невозможно. Орденами и медалями тут и не пахло. Требовалось срочно, любой ценой остановить поток.

Разъярённый Постников ежедневно вызывал на ковер Евгению Марковну.

– Вот вам ваша реклама! Заварили кашу, теперь расхлёбывайте! – нервно кричал он, топая ногами.

Но и Евгения Марковна при всей своей инициативности и сообразительности долго не могла ничего придумать. Не давать же в газеты опровержение, что с изобретениями дела в Институте обстоят из рук вон, что спазмолитин – обыкновенное плацебо¹⁹, а внедрение существует только на бумаге. Но, в конце концов, её осенило. *Volens nolens*²⁰, приходилось идти ва-банк. Так уж нужно было пойти крупно, по-деловому, как умел, пожалуй, один Чудновский. Идея и в самом деле была блестящая. Разработать «Комплексную Программу развития науки и внедрения в здравоохранение на ближайшую четверть века и вплоть до двухтысячного года», и выйти с ней в Академию, а если удастся, то и ещё выше. Естественно, под эту Программу Евгения Марковна рассчитывала выбить валюту и ставки. Появились бы новые статьи в газетах, новые решения и постановления, так что о прежних обещаниях можно было бы спокойно забыть. А если бы и вспомнил кто, так проще простого списать на перестройку, на гигантские

¹⁹ Плацебо – неактивный в фармакологическом отношении препарат, используемый для учета психотерапевтического эффекта.

²⁰ *volens nolens* – волей неволей (лат.).

перспективы и на будущее. К тому же, казалось, и риска никакого. До двухтысячного года сто раз забудут, да и спрашивать станет не с кого.

Но, увы, это только казалось так. Потому что в большой игре – *свои правила*, а она, дилетантка, не знала их. Не в свои сферы совалась, и оттого её ожидало поражение. *Что можно Юпитеру, того нельзя быку.*

Первый же раунд она проиграла. В Институте никто к Программе не отнёсся всерьёз. «Нынешнее поколение будет жить при Программе», – под смех присутствующих заявил с трибуны институтский острослов Ройтбак, а в кулуарах, и того чище, вспоминали молоко и мясо²¹. Впрочем, бог с ними, на шутки она умела смотреть сквозь пальцы. Шутить шутили, но планы всё-таки составляли, и вовсе неплохие планы – выйти на передовые рубежи науки, оставить далеко позади инофирмы. Лишь один смутьян Ройтбак снова отличился, пообещав двадцатикратный прирост продукции при шестнадцатикратном увеличении количества докторов наук. Да ещё и на этом не успокоился, запланировав испытывать препараты, которые и в планах у разработчиков не стояли, и свойствами обладали совершенно невиданными, к тому же и названия дал им непроизносимые, что-то вроде идиотина и жопапиперазина. Поговаривали даже, будто он с кем-то заключил пари. Впрочем, мелок, и смеялся мелко. Что же она – разве сама не понимала? Но тут – *политика. Игра*. Только вот, правил она ещё не знала. Что для такой игры волосатая рука нужна. А так, *как волосатая рука*, дилетантство, а не игра. То есть Программу утвердили, причём очень даже быстро. Можно сказать, почти и не рассматривали. Но вот в чём соль – валюту и ставки урезали под самый корень. Словом – блеф. Играли по правилам абсурда. Её же хитрость против неё и обернулась. Программу-то нужно выполнять. Нелепость, если под нею закорючка – уже закон. Но и она уже была не та. Начинала понимать правила. Банк сорвать ей, конечно, не по силам, так хоть мелкую взятку взять во исполнение Программы. Под барабанный бой, с треском, её лаборатория была переименована в отдел. По Институту, невзирая на ропот – вот вам, будете в другой раз смеяться – кое-как наскребли ставки; и вот уже создана клиническая группа, «полигон», как любила торжественно выражаться Евгения Марковна, предназначенный для внедрения теоретических разработок в практику.

Вот только теперь, когда приказ был подписан, она впервые задумалась по-настоящему, а что ей с этой группой делать? Таковы уж, видно, были кипучие свойства её натуры. Да и её ли только? Вполне отечественные это свойства: организовывать, преобразовывать, обещать, хлопотать, призывать, выдвигать лозунги, к чему-то стремиться, чего-то хотеть, не зная, в сущности, чего именно. Некоего дела – для дела, реорганизации – для реорганизации, инициативы – для инициативы, шума и разговоров – ради шума и разговоров. Но в том-то и оказалось существо момента, что на сей раз желания Евгении Марковны совпали, вошли в резонанс с желаниями Самого Высокого начальства. Нужно было *тем, на Западе, показать Кузькину мать*²². На сей раз её поддержали и полуустранившийся от дел Постников, торопившийся поскорее отрапортовать о принятых мерах, и Николай Григорьевич – этот на правах Учёного секретаря Академии, старого друга и бывшего любовника. И ещё выше, и ещё – там тоже находились свои отчётно-бюрократические резоны. А уж на Самом Верху и Институт, и Евгения Марковна со своим отделом и своей суетливой энергией казались не больше, чем козявками. Там, пожалуй, подписывали не глядя. Впрочем, по мере того, как необходимые бумаги всё выше вскарабкивались вверх, они обрастали всё большими ограничениями. Там знали, что валюты нет. «Орлы за облаками валюту поклевали, куда уж с ними нашей курице» – это опять острослов Ройтбак.

²¹ Вспоминали молоко и мясо – во второй половине 50-х годов была выдвинута волонтеристская программа обогнать США по производству на душу населения молока и мяса.

²² Кузькина мать – идиоматическое выражение И.С.Хрущева.

Да, вот теперь-то и оказалось, что никакой настоящей *идеи* нет. Евгения Марковна далека все годы была от клиники, да и внедрять ей оказалось абсолютно нечего. Пришлось элементарно набирать статистику, изучать проблему с самого начала, повторяя старые, тридцатилетней давности, работы профессора Бессеменова, благо к тому времени, не без заслуги Евгении Марковны, о них почти никто не помнил.

Так что, когда два года спустя Игорь Белгородский поступал к профессору Маевской в аспирантуру, клиническая группа влачила жалкое существование, а сотрудники там постоянно менялись. Да и тема, которую Евгения Марковна ему предложила, отнюдь не была выигрышной. Но Игорь, со своим рациональным умом, сумел довольно быстро наладить дело. К тому же, вскоре у него появились свои соображения. Он оказался отличным организатором, и почти без помощи Евгении Марковны сумел точно в срок закончить неплохую диссертацию. Вот тогда-то, даже ещё до защиты, профессор Маевская и пообещала ему должность старшего научного сотрудника и руководителя этой самой группы. Она и в самом деле разговаривала с Постниковым, но Постников дипломатично отправил её похлопотать в Академию, к Николаю Григорьевичу.

К тому времени её отношения с Головиным не были такими близкими, как раньше, прежние воспоминания давно померкли, да и не стоило злоупотреблять его дружбой. Николай Григорьевич и так немало сделал для неё, но другого выхода Евгения Марковна не видела. Однако на сей раз он даже не дослушал её до конца.

– Как ты говоришь, Белгородский? – перебил он Евгению Марковну на полуслове. – Это не у него ли был отец-профессор?

Евгения Марковна кивнула.

– Ну, вот видишь, положение сейчас сложное. Сама, не хуже меня, понимаешь.

– А когда оно не было сложным, Коля? Я что-то такого не помню. Что же ему, уезжать? Но Николай Григорьевич не обратил внимания на её реплику.

– Говорят, что твой отдел ничего не даёт практическому здравоохранению. На Постникова тебе сейчас рассчитывать не приходится. Стар и болен. Будь благоразумна, сиди тише. Ты и так многого добились.

– Кто это всё говорит, Коля? Чудновский? – дело заключалось не только в Белгородском, но в принципе. В таких случаях Евгения Марковна никогда не отступала, и никакие доводы Николая Григорьевича, старого дипломата и провидца, её ни в чём не смогли переубедить. Она решила обратиться прямо в президиум Академии. Но, увы, как и предсказывал Николай Григорьевич, ничего из этого у неё не вышло. Евгения Марковна лишь убедилась, что руководство Академии настроено против неё. Работа отдела подверглась уничтожающей критике. От Евгении Марковны потребовали дать, наконец, конкретный практический выход. А о Белгородском и слушать не стали, такие мелочи их не интересовали. И, хоть при разговоре присутствовали всего три человека, причём третьей была сама Евгения Марковна, уже через день о её поражении узнали все.

А первым, конечно, узнал таинственный аноним, злобный, завистливый недруг, недремлющее, всевидящее око. Он, этот аноним, счел момент благоприятным и нанёс жестокий, точно рассчитанный удар, отправив по инстанциям сразу две грязных анонимки. Впрочем, хоть и грязных, и пропитанных ядом, однако, не вполне бесосновательных, как должна была признаться себе Евгения Марковна. Аноним утверждал, что профессор Маевская вовсе не ученая, а лишь обыкновенный схоласт, а её теория – давно опрокинутый наукой бред, за который цепляется только она сама, плод необузданной фантазии, раздутого тщеславия и мелкой нечистоплотности (тут же многочисленные факты и фамилии; даже про неопубликованные работы Жени Кравченко аноним знал), что профессор Маевская преследовала всех, кто был не согласен с её лжетеорией, не пощадила даже имя и добрую память покойного профессора Бессеменова, выдающегося ученого и истинного подвижника, которому столь многим была обязана,

и чьи работы она в последнее время беззастенчиво повторяет. И опять факты, и даже цитаты. Далее следовали фамилии несостоявшихся по её вине кандидатов наук, и в разное время из-за несогласия ушедших от неё сотрудников – иные судьбы, как у Жени Кравченко, оказались изломаны, и сколько было в журналах не опубликовано по её вине статей. Но и этого мало. От всевидящего ока анонима не укрылось, что многие работы в её отделе – липа, а другие – бесконечные повторения, основанные на одних и тех же данных.

А дальше, войдя во вкус и ещё сильнее распалившись, этот таинственный злобный недруг с яростным сарказмом обрушился на деяния Евгении Марковны на посту заместителя директора. Выдвинув красивый лозунг «Ни одного изобретения без внедрения!», она не только ничего не изобрела и не внедрила, но ещё и с остервенением мешала внедрять другим. Ценные препараты, чуть ли не десять лет назад разработанные в Институте, до сих пор так и не были внедрены в производство, хотя внедрение их значится во всех отчётах, а работы доктора биологических наук Ройтбака не могли быть завершены, так как профессор Маевская забрала себе предназначенное для него оборудование (и ведь было, было!), зато всего за два с половиной года она за счет других лабораторий полностью переоборудовала свой отдел. А командировки за границу... Достаточно сказать, что за два года профессор Маевская буквально исколесила пол-Европы, не поставив при этом ни одного эксперимента и подписав лишь один договор, так что в поездках этих не было никакой нужды, разве что ей срочно требовалось за счет командировочных пополнить собственный гардероб в фешенебельных магазинах Вены, Берлина, Будапешта, Праги и Варшавы. Да и вообще, не мешало бы выяснить, с кем она встречалась в Вене, превращённой, как известно, сионистами в крупный перевалочный пункт²³. Мало того, она не только ездила за границу сама, но и без особой нужды посылала своих сотрудников и приятелей – платила замаскированные взятки из государственного кармана за их поддержку и покорность.

Новоявленного борца за справедливость, конечно, не нашли. Да и не искали. Врагов у деспотичной Евгении Марковны было несть числа, и тайных, и явных, и она не догадывалась, кого подозревать. Зато в инстанциях, рассмотрев беспримерно быстро тридцатистраничную сагу о грехах профессора Маевской, решено было создать чрезвычайную комиссию. Тайный аноним мог торжествовать. Поспешность, с какой было принято решение, свидетельствовала, что удар пришелся точно в цель. Однако, этого злобному анониму показалось мало. Он не стал дожидаться ни создания комиссии, ни результатов проверки, сам размножил своё творение на ротاپринте (а ротопринты все, как известно, в спецчастях и под надзором), и разослал во все лаборатории Института. Трудно сказать, что им руководило: ненависть к профессору Маевской, неудовлетворённая жажда литературной славы, или то была более широкая компания: некто с извращённым умом мог подобным образом замыслить борьбу с сионизмом.²⁴ Надо же было отвлечь людей от очевидных провалов. Как бы там ни было, произведение имело громкий, даже скандальный успех: его перепечатавали, зачитывали друзьям и знакомым, и даже цитировали на собраниях, впрочем, чаще без ссылки на первоисточник. Через неделю письмо разошлось по всем институтам Академии, вызвав немалый переполох и нарушив скучное однообразие научной жизни. Но больше всего его обсуждали в институтских курилках – теперь там собирались даже некурящие, а дискуссии не умолкали целый день. Естественно, что тут же образовались две партии. Одни – это были большей частью люди, обиженные когда-то Евгенией Марковной, многочисленные завистники, тайные антисемиты, наивные искатели справедливости и ограниченные приверженцы порядка – приняли сторону анонима, и выражали готовность поставить подписи под его творением. Зато другие, более рассудительные и скеп-

²³ В 60-70-е годы еврейские эмигранты, выезжающие из СССР, на некоторое время поселялись в Вене, где решался вопрос о дальнейшей эмиграции – в США или в Израиль.

²⁴ Затеять борьбу с сионизмом – в позднесоветский период антисемитизм маскировался под флагом борьбы с сионизмом.

тичные – их, правда, оказалось значительно меньше, – Евгению Марковну оправдывали, то есть, не вполне оправдывали и даже не отрицали иные факты, но утверждали, что она ничуть не хуже других, поступала в соответствии с принятой практикой, и если уж братья за нее, неизвестно, куда можно зайти в таком избирательном осуждении. Правда, существовала еще и третья партия – молчаливники. Как ни странно, к этой третьей партии принадлежали в основном сотрудники самой Евгении Марковны, отнюдь не спешившие встать на её защиту, а также кое-кто из профессоров. Эти, в силу своего положения, не могли опуститься до обсуждения анонимки, пусть даже и написанной талантливой рукой. К тому же, в анонимке им виделось посягательство на их собственные права и prerogatives.

Вскоре этот «некролог», как прозвали анонимку с лёгкой руки, а вернее, с острого языка главного институтского остролова Ройтбака, превратился в московский бестселлер. Поговаривали даже, что какие-то молодые люди, – то ли фарцовщики, то ли шовинисты, то ли тайные агенты, – торговали им по бешеной цене. Так что нет ничего удивительного, что года два спустя, оказавшись во время отпуска в Одессе, Евгения Марковна едва не обнаружила на Привозе, рядом с красной рыбой и черной икрой, через час-другой превращавшейся в обыкновенный крем для обуви, лекциями об НЛЮ и о последнем объявлении Антихриста, этот самый пасквиль. Ражий рыжий, патлатый мальчик, с пропитой рожей уголовника и огромными ручищами убийцы, воровато оглядываясь, рекламировал свой товар.

– Новейший детектив! Крупнейшее мошенничество! Процесс века! История о подложном внедрении несуществующего изобретения с приписками, взятками и очковтирательством! Плачевные результаты одной кампании! Как на нас наживаются евреи!

Народ к нему валом валит, очередь стояла звериная и рыжий молодец едва успевал доставать из-под безразмерной полы явно самиздатского вида книжицу.

Евгении Марковне очень хотелось кликнуть милиционера. Если уж самого пасквилянта не нашли, пусть бы хоть забрали этого рыжего, пропитого и патлатого. Но милиционера, как назло, нигде не было. Вполне вероятно, что он состоял с рыжим и ражим в доле. А может и не такие люди состояли.

С трудом протиснувшись сквозь толпу, Евгения Марковна схватила книгу, но рассмотреть её как следует ражий не позволил.

– Плати червонец, а потом рассматривай, – заявил он нагло. – Некогда мне тут ждать. Народу вон сколько.

Однако платить неизвестно за что десять рублей было не в привычках Евгении Марковны.

– Предъявите разрешение на торговлю, – решительно потребовала она.

Однако рыжий и ражий и глазом не моргнули. Толпа же у неё за спиной, напротив, зашумела и заволновалась – в её ропоте Евгении Марковне явно послышалось что-то враждебное, чего она всегда пугалась с самого детства, хотя рационально объяснить враждебность толпы казалось невозможно. Так, однако, бывало всегда. Скорее всего, сам вид очереди вызывал у нее раздражение, и это раздражение тотчас передавалось другим. Впрочем, очень может быть, что толпа всегда чувствовала в ней чужую. К счастью, на сей раз вместе с ропотом началась давка, кого-то стиснули, он отчаянно закричал, у какой-то дамы выхватили сумочку, дюжий инвалид, расталкивая всех подряд, нахально пробивался к прилавку, его с руганью отталкивали, и ражий на минуту отвернулся от Евгении Марковны.

Воспользовавшись моментом, профессор Маевская отступила в сторону и начала торопливо листать книгу. Речь, как оказалось, шла не о ней. Во-первых, дело происходило не в Москве, во-вторых, не в институте, а на заводе, где вместо государственной продукции цеховики гнали брак, а в-третьих, вовсе не евреи, а грузины. По крайней мере, люди с грузинскими, а не еврейскими фамилиями. К тому же, по законам кича, в конце торжествовала справедливость: приписки были разоблачены, нечестные директор и компания оказались на ска-

мье подсудимых, на заводе, как по мановению волшебной палочки, были установлены строгий порядок и дисциплина.

У Евгении Марковны отлегло от сердца, и она стала прислушиваться, о чем говорят люди. Два интеллигентного вида мужчины, то есть не совсем интеллигентного – длинные нечёсанные волосы, бороды, грязноватые батники, потёртые джинсы и кроссовки на ногах, – но так во всякое время некоторые фраппирующие интеллигенты любят ходить, – философствовали у неё за спиной.

– Книга-то, между прочим, дерьмовая. Не вижу цимуса хватать за червонец.

– Ты, Платоша, как с неба свалился. Представь, живёт себе маленький человечек, ущемляют его со всех сторон, стеной обнесли, на каждое действие регламент и инструкция, шаг свободно не ступи – нельзя, запрещено, а рядом ворюга купается в деньгах и плюёт на все эти нельзя. Каково ему, этому человечку, а? А тут ворюгу размазали. Да за такое удовольствие не то, что червонец, и полтинник отдать не жалко. Знаешь такое понятие: «классовая борьба»?

Между тем продавец вспомнил про Евгению Марковну.

– Ну что, берёшь? – неожиданно миролюбиво спросил он. – А нет, так и нечего глаза мозолить.

На Евгению Марковну снова со всех сторон устремились враждебные взгляды, послышались недоброжелательные возгласы, и она, торопливо сунув книгу в огромные ручки фарцовщика, стала поспешно выбираться из толпы. Голова в одно мгновение нещадно разболелась.

Но этот эпизод на Привозе, в сущности малозначительный, случится года два спустя. А в те дни, едва узнав об анонимке, Евгения Марковна настроилась весьма решительно. Первым делом обратилась куда следует, прося оградить её от клеветы и разыскать пасквилянта. Там, однако, только вежливо улыбались и цедили сквозь зубы, что это не их дело. Они, мол, только шпионов ловят. А здесь простой советский человек писал, что наболело на душе. Пусть она лучше обратится в милицию. В милиции же, словно издеваясь, посоветовали сначала доказать, что всё написанное клеветы и принести справку, а уж потом пытаться найти анонимщика.

– Кто же должен доказать, суд? – поинтересовалась Евгения Марковна.

– Ага, суд, – закивал милицейский начальник.

Но в суде её и слушать не стали.

– С кем вы желаете судиться? С пустым местом? Пусть анонимщика сначала разыщет милиция.

На этом круг замкнулся. Не лучше оказалось в министерстве и в Академии. Там с Евгенией Марковной даже разговаривать не стали. «Был сигнал, значит нужно принять меры». Похоже, что сигналу в инстанциях обрадовались, так быстро завертелось колесо. Возможно, в этом и не было злого умысла, – машина могла крутиться и без чьей-то персональной воли. Лишь один человек, вероятно, мог бы её остановить – Коля, но Коля был уже совсем не тот, что прежде. Приспособленец и эгоист, он при этом все же не был лишён благородства. Ни в сорок девятом²⁵, ни в пятьдесят третьем²⁶, он никого не дал в обиду. Выступал, правда, клеймил врачей, но всё это только для виду. Ему было легче, чем другим – за спиной у Коли стоял тесть, вхожий к самому Сталину. Поговаривали даже, что он бывал иногда у генералиссимуса на попойках. Так что за себя Коля мог быть относительно спокоен. С годами, однако, Коля устал просить за других, устал отстаивать справедливость. Укатали Колю академические горки. Да и не той он был породы, чтоб не укатать. К тому же, повязан круговой порукой, и ко всему гипертония... В общем, звонить не следовало, но Евгения Марковна всё же позвонила. Коля,

²⁵ Ни в сорок девятом – 1948—1949 гг. – время расправ над отечественными биологами и компании против «космополитов».

²⁶ Ни в пятьдесят третьем – в 1953 г. сфабриковано было «дело врачей».

однако, оказался в отъезде, в Англии. Он словно чувствовал, что она станет ему звонить (ведь узнал же, в первый же день узнал, раньше, чем она сама), и поторопился побыстрее улизнуть. Впрочем, вероятно, она к нему была несправедлива.

Последней надеждой оставался Постников. Но Евгений Александрович был болен – температура и давление, – подавлен, мрачен, что-то у него самого не ладилось в Академии и, вопреки ожиданиям, анонимка произвела на него сильнейшее впечатление. Может быть, и не анонимка даже, а начинавшаяся кампания и известие о предполагаемой комиссии. Ему ведь сразу обо всём сообщили недоброжелатели. Как бы там ни было, он вызвал Евгению Марковну к себе домой. Евгений Александрович лежал с компрессом на голове, был бледен, печален и жалок – быть может, даже нарочно сделал компресс, чтобы пресечь её возражения, – и очень деликатно и вежливо, словно через силу, попросил Евгению Марковну саму отказаться от должности заместителя директора. Он сделал уже всё, что мог. Всё равно её никогда не утвердят в Академии. Не нужно было ей ссориться с Чудновским... Постников, похоже, боялся за себя.

Евгения Марковна всё же попыталась возмутиться. Ведь это же всё ложь – по поводу каждой её командировки есть отчёт, в нём отмечено, какую огромную работу она провела, все расписано буквально по минутам. И сотрудники её ездили за границу не просто так, а по плану, утверждённому в Академии, и на это тоже есть отчеты и решения ученого совета, единогласно, между прочим, утвердившего эти отчёты. А что касается внедрения, так Евгений Александрович прекрасно знает суть. Бумаги застряли где-то в главке, промышленность оказалась к внедрению не готова, внешторг вовремя не закупил полуфабрикаты и станки, кто-то в министерстве не выделил валюту – обычное головотяпство. Да и потом, история это давняя, а она исполняет обязанности всего два года. Чудновский в своё время тоже ничего не сделал. Так при чём же здесь она? И насчёт её теории полная передержка. Теорию никто не опровергал, она вошла в качестве составного элемента в более широкую концепцию, и Евгения Марковна давно уже с этим согласилась. И переоборудование своего отдела осуществляла строго по плану и с его, Евгения Александровича, полного согласия. Тут Постников сморщился, будто от зубной боли. А уж за публикацию статей или утверждение диссертаций в ВАКе и вовсе не она отвечает. Так в чём же её можно обвинить? Задача в другом – выявить пасквилянта. Он же не только над ней, слабой женщиной, измывается, а над Институтом, даже над институтами. Возьмите, к примеру, соседний Институт терапии, или Институт хирургии... Да хоть Институт философии...

Но Евгений Александрович только покачал головой, только посмотрел на Евгению Марковну мудрым и скорбным взглядом...

– Ну при чём здесь институты? – со вздохом спросил он. – Вы прекрасно знаете, что если комиссия станет искать, недостатки обязательно найдутся. Не могут не найтись. И вы, Евгения Марковна, окажетесь стрелочницей. Тем более, самолётное дело²⁷. С него всё пошло. Так не лучше ли упредить и сославшись на здоровье, выйти в отставку. Отдел-то ведь вам оставят, Чудновский обещал поддержку... Он, между прочим, вполне лояльный человек... И Головин, я думаю, тоже не откажет. Поезжайте, отдохните. А за это время всё забудется, и вы сможете, вернувшись, больше времени уделять своему отделу. Дела там у вас и в самом деле не очень хороши...

Евгений Александрович был, конечно, прав. Он спокойно и доброжелательно оставался в тени, пока активная Евгения Марковна ломала себе шею, а сейчас торопился избавиться от нее. С годами инстинкт самосохранения становился в Постникове всё сильнее...

²⁷ Самолётное дело – в 1970 году группа евреев-отказников безуспешно пыталась угнать самолёт, чтобы выбраться из СССР в Швецию. Являясь следствием антисемитизма, это «дело» в свою очередь, способствовало усилению антисемитских тенденций в советской политике.

ГЛАВА 9

– Кто же это мог быть? – снова спросила себя Евгения Марковна, как спрашивала уже сотни раз за эти пробежавшие, промелькнувшие годы. Но ответа никогда не находилось. Это ненавидящее, ненавидимое лицо с сатанинским всевидящим взором – она бы, казалось, сразу его узнала – безнадежно терялось среди лиц врагов и недоброжелателей, а их было множество: одних профессор Маевская когда-то критиковала, другим – не давала дорогу, третьих – не поддержала в свою бытность заместителем директора, у четвертых – отнимала оборудование, или ставки, а с кем-то сталкивалась по мелочам. Но ведь существовали ещё и просто завистники...

Нет, не мог написать анонимку ни могущественный Чудновский – он был слишком большой человек, чтобы пасть так низко. Чудновский её, конечно, ненавидел, но ведь ни разу не использовал своё положение. Пока...

Не мог и выживший из ума Шухов – тот давно гнил в скорлупе своей отрешённости, погружённый в воспоминания о прошлом. Неумолимое время убило в нём все страсти, иссушило телесную оболочку, погасило пристальный, подозрительный взгляд. Проходя мимо Евгении Марковны, он не видел её, в маразме Шухов иногда призраком бродил по коридорам, не мог найти свой кабинет, бормотал что-то бессвязно.

Ройтбак, конечно, имел все основания ненавидеть профессора Маевскую. Никто ещё так не мешал ему, как она, не лишал его аппаратуры и ставок, потому что ненависть их была взаимной. Евгения Марковна не могла забыть его ядовитых замечаний и шуток. Впрочем, тут и ещё – к Ройтбаку ушел один из её сотрудников. К тому же Евгения Марковна завидовала, потому что Ройтбак был настоящим учёным. Не хотелось ей в этом сознаваться, и она долго обманывала себя, но всё-таки приходилось признать – не только ей завидовали, и она завидовала тоже.

Было время, Вилен Яковлевич жаловался на неё в Академию, выступал с критикой и протестами. Он и не скрывал свою нелюбовь, презрительно отзывался о ней и о её теории, но всё делал в открытую. Да и не мог он написать эту фразу насчёт Вены...

Женя Кравченко – тот отпадал сразу.

Пожалуй, больше всех знал про Евгению Марковну Юрий Борисович. Ему было известно и про Женю Кравченко, и про Лену Анисимову, и про очень многое ещё. В сущности, обо всем. Моисеев очень многое мог бы написать, пожалуй, не хуже, чем аноним, но для него это было бы самоубийством. Он совсем не заинтересован в крушении Евгении Марковны. И никто другой из отдела... Игорь Белгородский? *Этом*, пожалуй, мог бы, но в то время он ещё надеялся... Не было ему никакой корысти. Скорее, у её сотрудников могли быть друзья, которые тоже немало знали...

И вдруг, в этот мерзкий, сырой и холодный апрельский вечер, в тот самый миг, когда часы на кухне пробили полночь («Вот сейчас войдут и перережут горло», – неожиданный испуг переходил в озноб) – молния вспыхнула и погасла, выхватив из прошлого маленький, тут же рассыпавшийся кусочек жизни, и это ненавистное, спокойное, самодовольное лицо.

– Неужели? Нет, не может быть, – тихо вскрикнула Евгения Марковна.

Наваждение исчезло, но тотчас появилось снова. Юра Аринкин с ангельской улыбкой на лице и голубыми незамутнёнными глазами – это был, несомненно, он, и никто другой! Как же она раньше не сообразила? Даже никогда не подумала о нём...

...Несколько лет назад на партбюро Евгения Марковна выступила против приема Юры в партию. Она, конечно, была совершенно права. Юра был первостатейный халтурщик, наглец и бездельник. Даже кандидатский минимум пришёл сдавать ни разу не раскрыв учебник. Надеялся на общее своё развитие, на красноречие, умение не смущаться, но главное, конечно, на снисходительность экзаменаторов и имя своего отца. Однако на сей раз он просчитался.

Евгения Марковна возмутилась и выгнала его с экзамена. Не надо было этого делать, но ведь и у нее есть характер и самолюбие, и не могла она уронить своё достоинство перед всеми. В тот же вечер Евгении Марковне позвонил Аринкин-старший. Едва скрывая возмущение, профессор Аринкин попросил назначить пересдачу. Увы, на этот раз Евгения Марковна характер не проявила. Она уже и так раскаивалась. Врагов у неё хватало и без Аринкина, а Николай Юрьевич был членом учёного совета Института и членом ВАКа. К тому же, когда-то он выступал оппонентом на её защите.

На следующий день Юра снова явился к ней в кабинет, так и не раскрыв учебник. Да и ни к чему. Экзаменатором теперь выступал он, заранее зная, что Евгения Марковна не выдержит свой экзамен. И она не выдержала – не стала спрашивать, и поставила ему четверку.

Год спустя профессор Маевская выступала Юриным оппонентом, не очень углубляясь в его диссертацию (Юра предусмотрительно всучил ей текст рецензии), она легко обнаружила совершенно явную халтуру, и обширные заимствования в обзоре литературы. Не сдержавшись, прямо сказала об этом Юре. Разговор был вполне доверительный, тет-а-тет, и Юра не стал опираться:

– Евгения Марковна, какое это имеет значение? Вы ведь знаете, что в нашей стране диссертации делаются для диссертаций. Так какая разница, чуть лучше, чуть хуже? Вот, когда получу самостоятельность, тогда и проявлю себя.

Видно, Юра считал Евгению Марковну своей сообщницей. Да так, собственно, оно и было, они ведь были связаны с профессором Аринкиным круговой порукой – взаимным оппонированием и рецензированием. К тому же, Аринкин-старший заботился о выходящих от Маевской диссертациях в ВАКе и потому Евгения Марковна не стала возражать Юре, хоть это и было нарушением неписаной научной этики: обсуждая диссертации, всегда критиковать именно и только частности, в то время, когда главный вопрос «а зачем это вообще нужно?» был молчаливо объявлен вне закона. Впрочем, она и сама не очень-то считалась с этой охранительной профессорской этикой, хотя обычно и соблюдала табу. Тут – другое её покорило. С высокомерным самомнением, уничтожая других (надо признать, однако, что Юрий руководитель Семёнов и в самом деле немногого стоил), Юра сам ничего не умел и не хотел как следует делать, то есть, что бы он ни воображал, и не говорил о себе, но принадлежал-то он к весьма многочисленной в родимом Отечестве породе бездельников, привыкших уютно жить, прячась за объективными обстоятельствами. Они, эти бездельники, до противного ленивы и неумелы, но не работают якобы не из-за лени, а из принципа, потому что для них не созданы условия. Но втайне они даже рады, что нет никаких условий и что все устроено не так, как надо – это служит отличным самооправданием. И ради этого самооправдания они громче всех кричат, требуют, становятся в позу, предлагают различные прожекты, потихоньку поругивают начальство, а оно, как правило, и в самом деле бестолково и бездарно, или шепотом, исключительно шепотом, валят всё на систему и похваливают западную предприимчивость, словом, фрондируют в узком или семейном кругу. Но стоит только кому-то попытаться что-то по-настоящему изменить и перестроить, они первыми начинают сопротивляться, и сразу же отыщут тысячи убедительнейших аргументов, почему это невозможно. А невозможно (по их, естественно, мнению) это, во-первых, потому, что не от них исходит, они-то свое проворчали и промолчали, им и обидно; а, во-вторых, им и так уютно и, в сущности, их и так все устраивает, только дали бы потихоньку ворчать и не работать.

В массе своей это вполне приспособленные бездельники, знающие, где и что можно сказать, как создать видимость работы, и даже умеющие при случае показать своё общественное лицо, а потому очень нередко они идут в общественные деятели, и только если уж характер совсем скверный или обстоятельства особенные, оказываются сутягами или конфликтными правдоискателями. Потому что, если застой и придавленность – вырождаются все: и люди системы, и критики.

Вот этот, фрондирующий исподтишка вариант общественного деятеля и был Юра. Успешно защитив диссертацию, он с прежней самоуверенностью поругивал систему и готовился дальше делать карьеру. Но ему не повезло. Аринкин старший внезапно умер, и Юра застрял в мэнээсах. Работать ему не хотелось, ежедневный рутинный труд нагонял тоску, и он, спокойно пописывая статейки, перелицовывая один и тот же материал, отличался лишь изредка на философских семинарах и, как и следовало предполагать, со временем подался в профсоюзные вожаки – пролез в местком, и не просто пролез, но ведал распределением путевок.

Вот тут-то с ним снова столкнулась Евгения Марковна. В лаборатории Семёнова был объявлен конкурс на должность старшего научного сотрудника. Кандидатов оказалось двое – Юра и Пётр Николаевич Нефёдов, из другого института, а председателем конкурсной комиссии как раз профессор Маевская. Достоинства кандидатов явно были не равны. Нефёдов – серьёзный ученый, отличный методист и обладатель почти готовой докторской, так что другой на месте Юры отказался бы от борьбы и благородно отошёл в сторону. Но – не Юра. Юра, наоборот, бросил на чашу весов старые отцовские связи, месткомовские заслуги и демагогию местного патриотизма, так что на предварительном заседании конкурсной комиссии голоса разделились поровну. Голос Евгении Марковны становился решающим, и она, хоть многие её и осуждали (впрочем, осуждали бы в любом случае) на сей раз проявила принципиальность. Её не переубедили ни звонки бывших учеников профессора Аринкина, ныне ставших профессорами и завлабами, ни напоминания, что Николай Юрьевич выступал когда-то её оппонентом, ни даже уговоры нынешнего Юриного руководителя Семёнова – испугался он, что ли, сильного Нефёдова в своей лаборатории? Скорее все эти звонки и напоминания возымели обратный эффект: Евгения Марковна терпеть не могла, когда на неё пытались оказать давление. Однако, и это ещё не всё. Накануне решающего заседания Юра самолично решил прийти к ней домой с цветами и с хрустальной вазой, однако Евгения Марковна даже не стала его слушать. Цветы, правда, взяла, но разговаривала сухо и жестко.

– Я в вас не верю. Мне кажется, вы неудачно выбрали профессию. В философии или истории вы бы добились большего. Там ведь, главным образом, важны слова.

Юра дёрнулся, словно от пощечины, голова ушла в плечи, и во всей его фигуре появилось что-то жалкое.

– Если бы был жив отец, вы бы так со мной не разговаривали, – в голосе Юры ей послышалась тайная угроза.

О, да, да, за ней был долг, и она могла бы это сделать для него, но только нарушив другой долг, более важный. Тут нужно было сразу поставить Юру на место. Он не имел права требовать. Евгения Марковна холодно выпроводила его в коридор. Юре пора было уходить, но он всё топтался, будто что-то ещё хотел, но не решался сказать. И вдруг, решившись, с какой-то затаённой угрозой – только в этот момент смелость изменила ему, и он пробормотал почти невнятно, со странненькой ехидненькой улыбочкой: «Помышление сердца человеческого – зло от юности его» и исчез. Что он этим хотел сказать? Может, намекал на Бессеменова, на свою осведомленность? Но откуда он мог знать? Только одно было ясно, что ушёл он врагом, и что в словах его таилась угроза. И уже оттого, что он посмел угрожать, пусть даже каким-то очень странным и непонятным образом, Евгения Марковна испытывала против него раздражение. Оттого и выступила на партбюро. Впрочем, каковы бы ни были её мотивы, она была права. Не место таким, как он, в партии.

Но вот, что странно. Стоило Евгении Марковне выступить против Юры, как вся злость вытекла из нее, будто вода из дырявого сосуда. И в ней не осталось ничего, так что даже не вспомнила о нём ни разу после анонимки... Впрочем, вспоминала, но Юра позаботился об алиби. Как раз в это время он ездил в турпоездку за границу.

– Да, да, это он, – шепчет Евгения Марковна. И тут же зябкий холодок проникает в неё, а волосы начинают шевелиться. Ибо одно ей до сих пор непонятно. Ведь он не только факты, он и *мысли* её описал. Откуда же он мог знать? Неужели потому, что они похожи? Неужели и она такая?

– Как же он меня ненавидит, – цедит сквозь зубы Евгения Марковна. – И за что, за что? Ведь я же сказала правду. Вот за правду и ненавидит. Но, главное – он один? Или кто-то за ним стоит?..

ГЛАВА 10

С приходом Чудновского жизнь в Институте решительно изменилась. В первой своей речи, тронной, как называли её сотрудники, он заговорил об ускорении и перестройке, и сразу же поставил перед Институтом такие грандиозные задачи: выход на уровень лучших мировых достижений, а затем и опережение, развитие международного сотрудничества, новое мышление, осуществление комплексной научно-практической программы «Здоровье», разработка новых препаратов и новых методов исследования, не хуже, чем за границей, повышение ответственности сотрудников за конечный результат работы, внедрение хозрасчета, и многое, многое ещё – о каких недавно не только думать, но и мечтать было нельзя.

Выступление Чудновского встречено было бурными продолжительными аплодисментами. Но... не он первый говорил хорошие слова, немало и до него бывало на сцене прожектеров, немало звучало лозунгов, не ему первому, отбивая ладони, аплодировали, однако ничего не менялось, и мало кто верил, что можно действительно что-то изменить. Знали, конечно, что сейчас плохо, и что менять нужно, но, если честно, мало кому хотелось что-то менять. Давно привыкли, обленились и приспособились, да и не мыслили иную жизнь. Если птицам с детства подрезать крылья, можно ли их потом научить летать? Конечно, открывались перспективы, но – как ласточки в небесах, надёжней и спокойнее казалось жить по-старому. Никто вроде бы не возражал, аплодировали и соглашались, однако особого энтузиазма не наблюдалось. Скорее глухая, молчаливая, напуганная оппозиция. Встречались, правда, и энтузиасты, особенно среди молодежи – этим дерзать и расти, да и крылья ещё отрасли могут, к тому же, не Чудновский ли расчистит им место. Но и они пока помалкивали, ждали, боялись выскочить раньше времени. Правда, на трибуну выходя, а выходили, как и прежде, старики, тёртые-перетёртые, высказывались все за перестройку и ускорение, и лозунги вывесили соответствующие, и стенгазету – говорили и писали в согласии с начальством, как всегда, но втайне надеялись – пронесёт. Не первая была кампания, не в первый раз одобряли и поддерживали, а, одоблив и поддержав, тут же в кулуарах, шёпотом, травили анекдоты. Да и как без анекдотов? Перестройка ещё не началась, ещё только произносили речи, осваивали новую терминологию, а отдел снабжения вырос уже вдвое. Попытались внедрить в производство препарат, но оказалась неготовой производственная база, да и бумаги снова, в который раз, застряли в бесчисленных колёсах четырнадцати нужных ведомств. А пока пробивали, вытаскивали колёса, выяснили ненароком – устарел. Словом, забуксовали сразу. Ещё вперёд не сдвинулись, а пора давать задний ход.

И всё-таки что-то произошло, какое-то незаметное, непонятное движение. Вирус – не вирус завёлся в воздухе, но что-то неуловимо сдвинулось, шевельнулось в столетнем царстве застоя, и, хоть колючий шиповник и не превратился в розы, но даже там, где десятки лет, как в стоячем омуте, жизнь текла без всяких перемен, заворчали и задвигались старики-заведующие, разбуженные в своих уютных гнездах. Ну, а молодые, да и средних лет, те даже ходить стали быстрее, и, встречаясь в коридорах, теперь на ходу обменивались новостями, а больше слухами, вместо того, чтобы как раньше, часами стоять на лестничных клетках в клубах дыма.

Впрочем, на лестничных клетках вообще больше не курили, потому что перестройка в институте началась с борьбы с курением. «Табак – зло. Нельзя, чтобы рабочее время уходило в сигаретный дым», – решительно, хоть и вскользь, обронил Чудновский, он вообще всё делал вскользь, бегом, разрывался между Институтом и своим Очень Важным Управлением. И тотчас же собралось партбюро, прозаседали часа четыре и решили – разрешить курить лишь с двух часов дня, и не на лестничных клетках – позор, антисанитария -, а только в одной единственной специально приспособленной курилке. Общественность, естественно, тотчас поддержала, особенно некурящая – не всё же простаивать с сигаретами, когда-нибудь и работать надо. И тут же, во главе с Лаврентьевым, составили общество некурящих, куда для числа, а также

ввиду одобрения начальства, стали вступать и курящие. Но вот незадача – курящие сотрудники теперь с утра поглядывали на часы, нервничали, работа у них не клеилась, а часам к одиннадцати-двенадцати у единственной курилки выстраивалась очередь. Правда, некурящие теперь окончательно бросили, и даже не пытались начинать, зато курильщики, отстояв очередь и заняв место, спешили наглотаться дыма впрок. И так глотали, что кое-кто попал в больницу, а кто-то один даже умер. Наверное, умирали и раньше, но теперь в Институте наступила гласность, и потому об этом случае узнали все.

Но это был только первый эксперимент. Вслед за ним решительно взялись за дисциплину²⁸, так что вскоре по инициативе некоей анонимной общественности – Чудновский ли тут был виновен, или извратить и скомпрометировать хотели, так и осталось неизвестным – специальная комиссия расхаживала теперь по Институту, проверяя, сидят ли сотрудники на местах, и всех подряд хватала в коридорах. Эффект проверки оказался поразительный. В первый же день три главные активистки – бельёвщица, санитарка и вахтерша, торжествуя, как над классовым врагом, задержали сто тридцать пять опоздавших сотрудников, и еще пятьдесят поймали в коридорах. На второй день количество опоздавших сократилось вдвое, а на третий, кроме шести десятков, выбывших на больничный, все оказались вовремя на своих местах.

Однако, другие начинания не стали столь же успешными. С целью повышения производительности труда и беспощадной борьбы с бюрократизмом, решили до двух часов дня отключать телефоны, а корреспонденцию уменьшить вдвое. Но, несмотря на расширение штата контролёров, количество писем и приказов только возросло. Что же касается телефонов, то теперь, чтобы компенсировать утреннее молчание, пришлось на восемьдесят процентов увеличить количество номеров. А потом кто-то сверху сыграл отбой, и новые инициативы начали потихоньку выдыхаться. В институтском вестибюле снова открылся табачный киоск – план. На месте лозунга «Курить – здоровью вредить!» вывесили новый, слегка забытый и переименованный: «Достижения науки – в практику!». Телефоны опять затрезвонили с самого утра, показатели переписки, в соответствии с планом, опять росли, а сотрудники численно выросшего и ещё более укрепившегося аппарата по-прежнему распивали чай, правда, по большей части сидя теперь в новых креслах. Словом, перестройка заканчивалась, всё возвращалось на круги своя, и многие, и Евгения Марковна в их числе (увы, она сама сознавала, что со временем её неумолимо уносило в стан консерваторов и она уже тайно ухмылялась, видя, как всё возвращается к прежнему; и только одно было ей теперь нужно – чтобы всё оставалось, как было; хотелось, конечно, жить долго, но, дай Бог, не дожить бы до перемен) – да, многие готовы были испустить вздох облегчения, повторяя вслед за острословом Ройтбаком, что не в ту сторону крутятся ремни, а аппарат в испорченный телефон играет. Вспоминали старое: «Лес рубят, щепки летят», наблюдали, не без злорадства, как громадная, неуклюжая, безмозглая машина (тысячи крутящихся в разные стороны, буксующих, устрашающе скрежещущих колёс), уже начинала притормаживать, сползая к прежнему, холостому ходу. И вот тут-то, к замешательству старой гвардии, распространился новый слух: Лаврентьева снимают. Этому вначале не поверили. Уже и до него во множестве бывали слухи – то о создании новых лабораторий, то назывались фамилии старых профессоров, которых Чудновский чуть ли не завтра собирался отправить на пенсию. Слухи то возникали, то исчезали, а неопределенность и возбуждение всё росли. Тут не до Лаврентьева. Да и кто такой Лаврентьев? Деликатный, безвредный, бездеятельный зам – удобный, это бесспорно, но не более, чем некая аморфность. Первым чувством даже было: не меня, не нас. Вздох облегчения пронёсся по рядам. Про Лаврентьева рассказывали анекдоты. Припоминали, как совсем недавно он ездил просить Чудновского в директора. Но вскоре дошло: началось. Настоящее, не испорченный телефон. Уже не щепки. Вот тут только и начали жалеть Лаврентьева. Но и жалеть некогда было долго, не до него. Все

²⁸ Кампания борьбы за дисциплину проводилась в 1982—1983 гг., после прихода к власти Ю.В.Андропова.

взоры обратились к новому. Нового не принимали, нового боялись – молча, затаённо, связанные этим неприятием. Тут и Евгения Марковна, и Шухов в одном ряду, но из страха и недоверия боясь объединиться.

И вот он, новый, правая рука Чудновского по Управлению, явился перед ними как Навуходоносор.

Нельзя сказать, чтобы он, этот американец (в своё время Соковцев два года пробыл в Штатах на стажировке), смотрел на них враждебно – вовсе нет. Он, похоже, вообще не видел лиц, не замечал их со своей вавилонской гвардией. Прямой, резкий, с маленькими буравящими глазками, безразличный к традициям и прежним авторитетам, он не скрывал своё желание всё переиначить – и оттого между ним и прежними сразу пролегла стена. Однако ясно было, не он через неё перешагнёт. Это они, склонившись, поодиночке, робко, понесут свои грехи в Каноссу...

Становилось очевидно – прежний Институт при смерти. То есть он жил ещё, как живёт за стенами Старый город, и прежние профессора, встречаясь, не без церемонности кланялись по-прежнему, и ходили на учёные советы, и аспиранты их по-прежнему защищали диссертации, и сами они по-прежнему оставались полновластными хозяевами в своих феодальных ленах, и всё-таки – всё стало не то. Не то уважение, не та, с тайной примесью сочувствия и жалости, почтительность, и на учёном совете не те места. Сами, рефлекторно, кроме гордеца Ройтбака и дурака Семёнова, забивались в тень, в углы, и речи совсем не так произносили – короче, и как-то робко, и реплики с мест теперь не они бросали, а Соковцев, и его, в свитерах и джинсах, бородатая вавилонская гвардия. Их и по фамилиям ещё не знали, но всё равно чувствовалось по манерам, по твёрдой и уверенной поступи, по смеху даже – они хозяева. Трудно стало, невыносимо для годами вскормленного профессорского тщеславия. Собирались по углам, шептались, рассказывали друг другу анекдоты, естественно, об этих новых, и вдруг, взглянув в глаза, замолкали на полуслове...

Первым не выдержал Сулаквелидзе – главный институтский оратор после ухода Варшавского. Он, как и в былые времена, произносил речь, однако Чудновский его перебил, не дав закончить фразу, Сулаквелидзе сел, голова его дрожала, и больше он не вымолвил ни слова. На следующий день Сулаквелидзе от обиды заболел и, тайно лелея мщенье, решил в знак протеста уйти на пенсию. Его проводили торжественно, но как-то уж очень скоро. Сам Чудновский пожимал руку (и ведь не решился не позвать в ответ), произносили речи, но все знали – в последний раз, из признательности, что ушёл сам. А лаборатория досталась одному из новых. «Мальчишке», - возмутились старожилы.

Тут уж стало совсем тоскливо. Новый Институт рос, как побег из старого дерева, высасывая из него соки – в новые, при Чудновском созданные лаборатории вливался обильный поток валюты, так что даже самым непонятливым становилось ясно, кто есть кто в Институте, и в каких высоких сферах пребывает ныне Чудновский. А её, Евгении Марковны, отдел, Чудновским ли, Соковцевым, или волей неумолимо бегущей жизни отставленный на задворки, на глазах хирел. Ей самой временами становилось стыдно. Неловко было, а сравнение напрашивалось само собой при взгляде на собственные фрунзенские²⁹, грохочущие, не те обороты дающие центрифуги. Да и другие приборы не на валюту куплены, а кое-как сварганены на заказ: неуклюжие серые ящики – громоздкий ионограф, и давно устаревший, допотопный мингограф, хоть и швед по рождению, но по-русски давно переключённый; два графа, как любили шутить сотрудники, граф Минго и граф Иона, казались давно мастодонтами, как два старых, в цилиндрах и с тростями графа, проживших отцовское наследство, перед деловыми, пронырливыми буржуа.

²⁹ Город Фрунзе, сейчас Бишкек, столица Киргизии. Имелся завод по производству центрифуг.

Но и это ещё не всё. На пир к Навуходоносору с его вавилонянами потоками хлынули иностранцы: налаживали свои приборы, устраивали выставки, читали лекции, стажировались и ставили эксперименты – разрядка набирала ход. Вавилоняне, новые, как презрительно Евгения Марковна их звала, всё ещё в лицо едва различая прежних, с буржуями бойко говорили по-английски, и сам Соковцев, явно красясь и гордясь («низкопоклонничает», – вспоминалось с неприязнью Евгении Марковне) выступал на их лекциях переводчиком (куда уж Евгении Марковне тягаться с ним, двух слов не свяжет по-английски). *Другая жизнь. Другие времена. Не для неё. Конец.*

Оставались одни воспоминания. Ведь было, и совсем ещё недавно: самый лучший отдел в Институте – так, по крайней мере, казалось Евгении Марковне – у неё. И к ней, как на выставку институтских достижений, присылали приезжавших на стажировку и нечастых гостей из-за рубежа. И она сама вела совсем недавно сразу три международных темы. И вот что ещё было: Евгения Марковна лично, – ох уж это женское, профессорское тщеславие, – никому не уступая чести, водила гостей по лаборатории, по огромному полутёмному приземистому с мерцающими приборами, как по необыкновенной экзотической научной фабрике. Словно в завтрашний день водила на торжественную экскурсию, а на память дарила монографию – мало кто прочтёт, конечно, зато станут рассказывать! О ней, о Евгении Марковне!

И рассказывали, и восторгались, и преувеличивали – из своей глуши, из своего неумения, из своей бедности; миражом сияли для бедных провинциалов и столичная лаборатория, и приветливая, моложавая профессор – и слава летела из града в град, из республики в республику, и от гостей у неё не было отбоя...

Но вот спотыкнулась слава, неумолимо развеялась, рассеялся столичный мираж, и больше никто не ходит к Евгении Марковне. Разве что иногда, случайно, по старой памяти забредут провинциалы, не прослышавшие ещё в своих медвежьих берлогах о её опале. Эти всё ещё внедряют методики двадцатилетней давности, и ездят к Евгении Марковне за советом. Ну что же – *Tempora mutantur et nos mutamur in illis*³⁰ – теперь и редким периферийным посетителям профессор Маевская рада.

Нельзя сказать, что Евгения Марковна сдалась сразу. Вначале она пыталась прорвать невидимую, непроницаемую стену изоляции, урвать хоть краюху от обильного соковцевского пирога. Но для этого требовалось договориться с Чудновским. А он лишь отмахивался от неё, как отмахиваются от назойливой мухи.

– Подождите, Евгения Марковна. Подождите, – раздражённо говорил он. – Вы же видите, мы новые лаборатории создаём. Людям нужно работать. Я лучших специалистов приглашаю. Они меня съедят, если я им не создам условия. Все средства сейчас идут на международную программу.

– Евгений Васильевич, вот об этом я и хотела с вами поговорить. Мы бы тоже хотели принять участие. У нас есть немалый опыт, и методики самые разнообразные. Думаю, Институт от этого только выиграет.

Евгения Марковна не лгала. Методики в лаборатории, хоть и сильно устаревшие, были и в самом деле очень разнообразные.

Чудновский на мгновение поднял брови, и лёгкая усмешка (или это только показалось ей?) едва заметно тронула его губы.

– Боюсь, что у вас ничего не выйдет. Я не могу из-за вас рисковать репутацией Института.

Это был приговор. Евгения Марковна даже спорить не стала, понимала, что бесполезно, и сразу не стало сил. А Чудновский – он, как всегда, спешил, – чтобы побыстрее закончить аудиенцию, уже в дверях порекомендовал:

³⁰ Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними (лат.).

– Поговорите подробнее с Соковцевым.

Но с Соковцевым Евгения Марковна ни о чём разговаривать не стала. Понимала, что бесполезно. Да и не могла перешагнуть через себя.

В конце концов, приходилось довольствоваться тем, что Чудновский пока её не трогал. В первое время, когда он стал директором, злые языки в Институте припоминали её злополучное выступление, и не без тайного злорадства ждали, что предпримет Чудновский. Но он ничего пока не предпринимал, как будто ни разу не вспомнил о существовании Евгении Марковны. Он находился на совсем другой высоте, и пути их пока не пересекались.

ГЛАВА 11

Не одной Евгении Марковне ныне приходилось туго. Но это не радовало, потому что невелика честь оказаться в малочисленном стане безропотной оппозиции вместе с переполошившимися обладателями былых заслуг и пожизненных синекур, представлявшими печальное зрелище человеческого разрушения. И поэтому совсем ничего, кроме чувства щемящей неловкости, не испытала профессор Маевская, когда её старый недруг, а ныне невольный союзник Шухов, как-то неожиданно выступил на учёном совете.

– Наша отечественная наука, – говорил он с пафосом, напомнившим Евгении Марковне далёкие прежние времена, – всегда славилась целостным подходом к человеку. Вспомним хотя бы великого Павлова с его незабвенным учением об условных рефлексах. А сейчас в Институте создаются всё новые лаборатории, и все они ведут исследования на уровне клеток и молекул. А где же целостный подход? Такими молекулярными исследованиями и грешила раньше зарубежная наука, и мы её справедливо критиковали.

Соковцев от неожиданности дёрнулся, и удивлённо уставился на Шухова, словно увидел его впервые. Агнивцев (ныне он был героем дня – открыл новый механизм переноса энергии и посрамил скептиков в США, сомневавшихся в его результатах. После нескольких месяцев неудач, в которых оказалась виновата калифорнийская вода, отличавшаяся по составу от московской, Юрий Николаевич подтвердил-таки свою правоту), услышав такое, даже забыл о приличиях, громко хмыкнул, и затрясся от беззвучного хохота.

– Откуда это ископаемое? – успокоившись, спросил он у сидевшего рядом Ройтбака таким нарочито громким шёпотом, что его услышал весь зал и тоже засмеялся.

Шухов затравленно обернулся и зло сверкнул стёклами очков. Он явно не ожидал афронта, и теперь не знал, что сказать. Он даже, кажется, не понял, что это про него спросил Агнивцев, а скорее всего Шухов и не расслышал. Только неуместный на ученом совете смех выводил его из себя.

– Старый черносотенец. Он тут в своё время и не такое вытворял. А сейчас, видно, из-за склероза всё перепутал, – почти так же громко ответил Ройтбак.

В тот день Чудновский показал себя молодцом.

– Вы, Николай Иванович, именем великого Павлова не спекулируйте. Когда-то вот так и генетику с кибернетикой называли лженаукой. А что из этого вышло? До сих пор не можем расхлебать. Слишком дорого обошлось стране. Рецидива мы не допустим. Не то время.

Шухов, наконец, понял, что вызвал неудовольствие начальства и сконфуженно сел, вновь погрузившись в защитную скорлупу молчания. Он давно и безнадежно заблудился в прошлом, и только по чьему-то недосмотру или злему умыслу продолжал заведовать лабораторией. Впрочем, лаборатория его давно существовала только на бумаге, а в действительности у Шухова оставались всего три сотрудника, да и те все старики – они тихо доживали свой век, изредка перепечатывая старые статьи и предаваясь воспоминаниям. Сам же Шухов целыми днями сидел в кабинете, заперев дверь на замок. К нему никто не заходил, и телефон никогда не звонил у него на столе. Даже уборщицу он к себе не допускал. Никто не знал, чем он занимается. Раньше, бывало, к Шухову заглядывали иногда – людям было интересно посмотреть, что он делает в полутёмном кабинете. Но Шухов всегда в одной и той же позе неподвижно сидел за столом, покрытым толстым слоем пыли: то ли спал с открытыми глазами, то ли разглядывал бумаги, всегда одни и те же, давно выцветшие от времени. Он с трудом поднимал голову и произносил ворчливо:

– Ну, зачем пришли? Мешаете работать.

В последнее время о Шухове стали забывать и совсем оставили его в покое. В Институте забыли даже, как называется его лаборатория, и говорили просто: «богадельня». На учёных

советах Шухов теперь неизменно садился в самый тёмный угол, погруженный в перманентное молчание, и, ни с кем не здороваясь, сидел там, кажется, ничего не понимая. Он давно превратился в призрак, лишённый плоти, неизменно облаченный в серое – вот уже почти целую четверть века. В такие моменты, глядя на своего поверженного врага (увы, сражен он был не людьми и не запоздалым раскаянием, а безжалостным, неумолимым временем), Евгения Марковна не испытывала ничего, кроме грусти. Ведь время одинаково безжалостно ко всем.

Года за два до выступления Шухова на учёном совете кто-то распространил в Институте слух, столь же фантастический, сколь и неожиданный, будто Николай Иванович сделал поразительное открытие, над которым тайно работал больше двадцати лет, и теперь только ждет случая, чтобы вернуться и потрясти само здание науки. Неизвестный предположил, что Николай Иванович на старости лет стал могучим экстрасенсом, усилием воли передвигающим предметы: в его запертом кабинете временами что-то глухо ухало и падало, и раздавался звон, похожий на звуки бьющейся посуды. К тому же, чем бы ещё мог заниматься Шухов в просторном полупустом кабинете, где не было ничего, кроме тридцатилетней давности книг, нескольких старых поломанных стульев, на которых никто как минимум два десятилетия не сидел, и выцветших от времени бумаг, хотя в кабинете всегда стоял полумрак, и солнечные лучи никогда не проникали через плотно зашторенные окна. Эти выцветшие бумаги лежали на обширном столе, заросшем по краям плесенью и грязью. Да ещё висело на стенах несколько старых фотографий, тоже тридцатилетней давности, которые хозяин кабинета хранил пуше всего на свете, особенно одну, и даже не саму фотографию, а только копию, на которой он был удостоен чести, вскоре после приснопамятной сессии ВАСХНИЛ, позировать рядом с народным академиком Лысенко и Бошьяном³¹. Каждое утро Николай Иванович бережно, батистовым платочком, стирал с этой фотографии пыль, словно вовсе не пылинки, а пелену забвения стирал с прошлого, в котором он сам себя замуровал.

Как-то случайно в курилку, где молодёжь в который раз перемывала столетние кости Шухова, слушая рассказ молоденькой секретарши, относившей Шухову директорский приказ, заглянул профессор Ройтбак. В тот день ему не работалось, и Вилен Яковлевич ожесточенно грыз старую облупившуюся курительную трубку – верный признак мучительно-напряженной работы мысли. Так вот, вначале он думал о своём, и слова разговора текли мимо его сознания – к Шухову у него давно не оставалось никакого интереса. Тот был для него мертвец, лишь высохшая телесная оболочка, давно лишённая всякой мысли, не более, чем вместилище старых грехов и догм. Но рассказ секретарши: за столом пустая телесная оболочка с мертвыми, невидящими глазами, секретаршу он не узнал и долго подозрительно разглядывал и расспрашивал, хотя уже несколько лет здоровался с ней каждое утро, проходя мимо открытой двери канцелярии; душа, витающая где-то в прошлом; замызганный, заросший плесенью стол; полутемный, душный, со стоячим затхлым воздухом кабинет, запертый изнутри, куда никогда не проникает солнце... – вдруг неожиданная ассоциация возникла в подсознании, и Вилен Яковлевич едва не вскрикнул от неожиданности. Рука его дрогнула и погасший пепел просыпался на полу пиджака.

– Не иначе, Шухов решил повторить опыт Бошьяна!

– Бошьяна? – переспросил кто-то. По прошествии трех десятилетий, это имя ушло в историю, преимущественно ненаписанную и забытую, потому что велено было всё забыть, и никто из молодых не знал ни про Лепешинскую, ни про Бошьяна (только смутно, бесфамильно, про

³¹ Бошьян – во время торжества лысенковщины опубликовал сенсационную книгу «О природе вирусов и микробов», которая выдавалась за торжество так называемой мичуринской биологии. В этой книге он описывал образование микроорганизмов из кристаллического белка, обратное превращение пенициллина в грибок *penicilium* и множество других подобных «чудес». За «заслуги» перед советской наукой был избран депутатом Верховного Совета СССР. Позднее разоблачен. Как оказалось, причиной «зарождения» вирусов и микробов послужила обыкновенная грязь, то есть несоблюдение необходимых условий исследований.

генетиков и кибернетиков, вырванный из контекста кадр), некогда поразивших мир сенсационным самозарождением микроорганизмов из белка и иными чудесами передовой мичуринской биологии. Но сейчас, в курилке, это всё казалось таким далёким и невероятным прошлым, похожим скорее не на быль, а на анекдот, что Шухов, принадлежавший этому прошлому, казался всего лишь безобидным призраком, выходцем из небытия.

Да, никто ничего не помнил и не знал. Только он один, Вилен Яковлевич, хотя совсем ещё не был стар, только недавно исполнилось пятьдесят. И теперь, стоя с погасшей трубкой в руке среди молодежи (иные ещё не родились тогда), он снова слышал этот стук (сколько раз потом, сквозь сон, он слышал его по ночам), как беспощадные удары рока.

Он не был неожиданным, этот стук. Аресты продолжались уже несколько недель, и отец (он был генетиком, доктором наук) ожидал его каждую ночь. *Они* почему-то всегда приходили ночью. Казалось, можно было куда-то спрятаться, срочно исчезнуть на время арестов, переждать, но нет, они давно парализовали волю страны. Все стали фаталистами, и, как цыплята перед змеиной пастью, смиренхонько сидели дома. И всё-таки в ту ночь, хотя их ожидали, этот стук оказался внезапным, как приход смерти.

Он очень хорошо помнит ту ночь. Даже не ночь. Вернее, ночь уже шла на убыль. Уже Надвигалось утро, и небо слегка светлело. В деревне в эти часы кричат петухи. У отца мелко дрожали губы, в глазах застыла невыразимая тоска. Он, Вилен, не знал, куда себя деть. Нужно было броситься к отцу, обнять, попрощаться, чтоб отец в нём ощутил своё бессмертие, но что-то придавило его к полу. Мать, в одной ночной рубашке... Она забыла надеть халат – её была нервная дрожь. И только домработница Марфа, она одна не растерялась и быстро собирала узелок (хлеб, сухари – вот, значит, что такое «сухари сушить», – колбасу, положила даже сахар, конфеты, и пару белья на смену), и только когда собрала, никак не могла завязать, дрожали руки. И тогда один из них, самый молодой и даже симпатичный, подошел и завязал. Тех, чужих, было пятеро, но запомнился только один, главный, с угреватый, широким, приплюснутым лицом.

Он, этот угреватый, жил где-то неподалёку. Он не раз потом попадался на глаза Вилену, и, глядя жестоко-ненавидяще и не замечая, проходил мимо в вечном своём кителе, при портфеле, в галифе, слегка поскрипывая хромовыми сапогами. И потом, после пятьдесят шестого, уже без портфеля, но по-прежнему в галифе и кителе, натянув на нос очки, почитывал газетки на скамеечках, и заводил степенные беседы с женщинами предпенсионного возраста. Наблюдая за ним, Вилен едва удерживался, чтобы не подстеречь, не избить в кровь, в смерть, это ненавистно-угреватое, пожелтевшее со временем, нездоровое лицо. Но – тот уже стал стариком, и было не то, чтобы жалко, но как-то тошнотворно, до боязни заразиться, марасть об него руки. И этот, не прощённый и не наказанный, за былые заслуги на почётной пенсии, спокойно доживал, почитывал газетки, и всё ещё надеялся, что однажды снова газеты вспомнят про Великого Вождя, и что всё вернётся, и его призовут опять, а пока хлопотал о персональной пенсии, и, возможно, сумел бы выхлопотать – время поворачивалось к нему лицом. Но суд всё-таки состоялся – рак горла.

Марфа встречала его тоже – они с Виленом оставались вдвоём, мама умерла вслед за отцом – и он, этот угреватый, как-то даже остановил её и, бесстыдно ощупывая глазами, улыбаясь слюняво-гадким ртом, посоветовал:

– Ну что ты с этим жидочком возишься? Ты ж из наших, из крестьянских. Хочешь, пойдём ко мне в домработницы, а то, может, пристрою куда, я всё могу.

Но это всё – потом, а в ту ночь этот широколицый и угреватый тупо рылся в отцовских бумагах, делая вид, что что-то ищет, и веером расшвыривал их по полу. Наконец, он вытащил альбом, раскрыл наугад, и, указывая на дагерротип с мужчиной в шляпе, в пенсне и с тростью, зло усмехнулся:

– А это кто? – он был уверен, что нашёл именно то, что нужно. Трость с набалдашником, шляпа и пенсне служили самыми доступными из улик.

– Князь Кугушев... Красный князь... Сочувствовал большевикам и помогал деньгами, как Савва Морозов, – отец говорил так тихо, запинаясь, что слова едва можно было разобрать.

– Чего? – злобно удивился и обрадовался угреватый. – Троцкист?

– Не знаю. Кажется, он умер вскоре после революции.

– А это?

Дедушка тоже был в шляпе, с тростью и при фраке, как и положено владельцу модной обувной мастерской и поставщику двора Его Императорского Величества. Там же, в мастерской, находилась явочная квартира большевиков, а в подвале одно время стояла печатная машина. Связи при дворе служили надежной гарантией от подозрений полиции.

Дедушку Вилен не помнил. Ему было только три года, когда в поезде, следовавшем из Франции в Германию, представителя Амторга Арона Ройтбака застрелил бывший жандармский офицер. Но Вилен о нём хорошо знал по рассказам отца и бабушки, умершей вскоре после войны. Иногда он видел дедушку во сне и мечтал быть на него похожим. Впрочем, дедушка, тот, которого он видел во сне и который был на самом деле – решительный, могучий, с короткими сильными руками и бычьей шеей – в девятнадцатом, в Киеве, он один сбил с ног четырех попытавшихся схватить его денкинецев – был вовсе не похож на этого, на старой фотографии, важного господина в шляпе.

И сейчас, почти через полвека после смерти дедушки, Вилен Яковлевич всё ещё часто представлял себе его. Чаше всего – одну и ту же картину: сибирская снежная трескучая ночь, далёкие крупные звезды, серебряный серп луны, и тройка, тихо, без бубенцов, летящая по белой пустынной равнине – только снег в лицо, ружьё в дедушкиных руках, и протяжно-жуткий волчий вой. Лошади всхрапывают и летят, ямщик прикрикивает, а рядом с дедушкой в санях, уронив голову на грудь, спят бабушка и маленький мальчик лет шести, его отец. Вдруг где-то на развороте мальчик вываливается из саней, тройка со свистом летит дальше, и бабушка даже не сразу просыпается. Наконец, опомнившись, она трясёт за плечи уснувшего ямщика, тройка разворачивается, лошади упираются и хрипят, и дедушка один, с ружьём в руках, выскакивает из саней и шагает в темноту, проваливаясь в сугробах. И как раз вовремя. Зло сверкают зелёные волчьи глазки, вой окружает его со всех сторон, дедушка стреляет наугад – волки, трусливо бросив нежданную добычу, кидаются прочь, оставив на снегу перепуганного ребёнка.

С тех самых пор после потрясения отец болел. Его долго, почти до самой революции, лечили в Швейцарии у знаменитых докторов, но он так и не выздоровел окончательно. Всю жизнь ему снились волки. Ночами отец почти постоянно просыпался от собственного крика, и даже днём нередко вздрагивал от любого шороха, боялся открытых пространств и темноты. Несколько раз он лечился в клинике.

В ту страшную ночь болезнь вернулась к отцу. У него тряслась голова, в лице не было ни кровинки, а в глазах застыл такой смертельный ужас, что Вилен догадался – не жилец. Отца увели. Сам он идти уже не мог. Больше отца Вилен никогда не видел.

Мама бегала по инстанциям, писала письма, целыми днями простаивала в тюремных очередях, однако передачи у неё не брали. Она узнала только, что отец занимался лженаукой и какой-то – какой, так и не сказали -, враждебной деятельностью. Впрочем, через несколько дней это стало совсем неважно, потому что отца перевели в психиатричку, а ещё через несколько дней, спасаясь от волков, по-прежнему преследовавших его, от волчьего воя и волчьих зеленых глаз, он из двух верёвок, которыми был связан (как-то сумел освободиться), сделал петлю, и повесился на спинке кровати.

Мама пережила отца всего на несколько недель – умерла от инфаркта. Утешало лишь то, что смерть её была лёгкой.

Наверное, сумасшествие и быстрая смерть отца и спасли Вилену от исключения из университета. О нём забыли, их с Марфой даже не выгнали из квартиры. Марфа пошла работать на фабрику, как-то сумела оформить прописку, и, чем могла, помогала Вилену. Она заботилась о нём, как о сыне, и это, наверное, было единственное, что помогло ему тогда не потерять веру в людей.

К счастью, молодость брала своё. К тому же и статью, и здоровьем, и душевной крепостью Вилен похож был на деда, а не на отца – такой же широкоплечий, с короткими могучими руками и бычьей шеей, только ростом выше. Даже в любви Он был похож на деда даже в любви.

Арон Ройтбак, дед, женился, когда ему не было и двадцати, наперекор родителям и многочисленной родне, мечтавшей вовсе не о хрупкой дочке бедной многодетной вдовы. Да и было тогда в местечке немало и других красивых молодых девушек, и чуть ли не все они засматривались на крепыша Арона. И родители привечали образованного молодого строгаля, у которого горело все в руках, и заработок был редкий для такого молодого человека. А он всю жизнь любил только её одну, свою хрупкую черноглазую Пэсэл. И она, бабушка Пэсэл, всю жизнь была ему верна. Ездил за ним на поселение в Сибирь, и жила в подполье, и помогала в революционной работе, и вместе с ним скрывалась в Финляндии. Лишь несколько лет в Швейцарии, ухаживая за сыном, пробыла без него. И только уже после смерти бабушки она вернулась из Франции в Москву и жила безвыездно, растя Вилену, и, раскрыв семейный альбом, бесконечно рассказывала о бабушке, и о его сподвижниках.

Так и Вилен – в восемнадцать лет случилась у него любовь на всю жизнь: он свою Валю носил на руках, умирал от страсти и тоски, если целый день не видел её. О, какая это была страсть! Он помнит, все помнит, и её губы, и её зеленоватые, любовью и радостью сверкающие глаза, помнит её поцелуи, её шепот, её стоны, её волосы, пахнувшие фиалками, помнит маленькую родинку на её плече.

Казалось, такая любовь предвещала только счастье. Но счастье не состоялось. Не он, Вилен, был хозяин своей судьбы. Над его судьбой, как и над всеми судьбами, господствовало *время*, а значит *рок*. На сей раз рок обернулся её отцом. У него был тот же овал лица, что у Вали, и такие же зеленоватые глаза, но в них совсем не было света – ледяные, холодные глаза, в которых, как в зеркале, отражалось *время*. Взгляд был безжалостный, уничтожающий, как у угреватого, и даже походка, манеры, и даже сапоги и галифе – *те же*. Эти глаза и этот взгляд придавили Вилену к стулу, и он почувствовал, что дрожит.

– Валя мне во всём созналась. Так вот, ты никогда больше её не увидишь. Я не позволю. Если хоть раз попытаешься, я тебя вышвырну вон из Москвы, понял?

– Мы с Валею хотели пожениться.

Но тот, кого он по всем человеческим законам должен был любить, или хотя бы уважать, и кого он так ненавидел, и всё ещё ненавидит, хотя его наверняка нет в живых, не дал Вилену договорить. Он сам всё решил и, сразу растоптав три жизни, прервал Вилену на полуслове.

– Я же сказал, что всё знаю. Нам не нужны такие родственнички. Забудь о Вале сейчас и навсегда. Иначе, повторяю, я вышвырну тебя из Москвы!

Он, будущий тесть Вилену (он станет им посмертно, больше четверти века спустя), повернулся и пошел прочь, и столько беспощадного презрения было в его неестественно прямой спине, в его мягкой, кошачьей походке, что спазм сдавил Вилену горло от ощущения собственного бессилия и ничтожества. Пол заскрипел под хромовыми сапогами, потом глухо стукнула входная дверь, а раздавленный Вилен так и остался сидеть на стуле.

В первые дни, несмотря на предупреждение, Вилен пытался позвонить Вале, пытался её встретить, но Вали нигде не было, и другой голос, её матери, не злой, а скорее испуганный, посоветовал ему по телефону:

– Не надо звонить. Вале и без вас плохо. Я вас очень прошу.

И тогда он смирился с неизбежным...

ГЛАВА 12

С появлением Соковцева Евгении Марковне, увы, совсем изменило благоразумие. У себя в отделе она метала громы и молнии, желчно высмеивала и самого Соковцева, и затеянные им преобразования, предрекала всяческие трудности и неудачи, и, как малый ребенок, радовалась, когда академик Югов подверг критике целое направление соковцевских работ и отказался войти с ним в соавторство. Однако, принимая желаемое за действительное, Евгения Марковна сильно преувеличивала. Доставалось от неё и Чудновскому и, не исключено, что иные из её ядовитых словесных излияний тут же разносились по Институту и достигали ушей Соковцева, а может быть, и самого Чудновского.

Как бы там ни было, Соковцев относился к Евгении Марковне с плохо скрываемым недоброжелательством и, в свою очередь, насмехался над её работами, называя их не иначе, как чепухой и галиматьёй, а её саму – напыщенной старой курицей. Правда, так же, как и профессор Маевская, он позволял себе подобные высказывания только в узком кругу ближайших приспешников, что, однако, не мешало, в тот же день знать о них всему Институту.

Эти вот филиппики и были единственной формой общения между ними, потому что за первые два года пребывания Соковцева в Институте, они ни разу между собой не разговаривали. Соковцев, если ему что-то требовалось от профессора Маевской, всегда обращался к ней только через секретаршу, а Евгения Марковна демонстративно игнорировала заместителя директора по науке, по всем вопросам обращаясь к ученому секретарю.

Первый разговор с Владимиром Николаевичем состоялся у Евгении Марковны лишь в конце второго года, когда Соковцев пригласил её к себе с отчётом. Он предложил Евгении Марковне сесть, бегло просмотрел отчёт, почти двадцать страниц машинописного текста. Губы его при этом высокомерно кривились, а щека дёргалась от тика, и Евгения Марковна, наблюдая за его мимикой, всё больше наливалась раздражением и злостью.

В кабинете, таком знакомом – ведь Евгения Марковна сама не так давно восседала в нём – всё было теперь совсем иначе. Обширный двухтумбовый стол был чист и пуст, вместо прежних стульев стояли глубокие мягкие кресла, а в книжном шкафу, где раньше стояли произведения классиков марксизма, и годами без дела пылились старые отчёты, папок теперь совсем не было, а вместо них располагались несколько толстых, солидных книг на английском языке, образуя странную компанию с классиками. И даже на стенах вместо диаграмм, изображавших растущее в Институте год от года количество защищённых кандидатских диссертаций (годы, когда это количество уменьшалось, на диаграммах не отображались), висела бёрингеровская схема «Пути метаболизма», электрифицированная карта международных связей Института с городами-лампочками, а на маленьком столе, в углу, красовались разные рекламные проспекты. Даже портреты Боткина и Павлова (их Соковцев не посмел тронуть, со злорадным удовольствием отметила Евгения Марковна), ныне соседствовали с рекламными пейзажами Парижа, Лондона и Чикаго.

– Космополит, – с завистливым неодобрением подумала Евгения Марковна.

...Лет двадцать пять назад, или чуть больше – она работала тогда у Николая Григорьевича – Головин вызвал её к себе, и, плотно затворив двери кабинета, сообщил:

– Завтра будет митинг. Пришло указание срочно осудить Роскина и Ключеву за передачу рукописи в США³². Я тебя прошу выступить. Это тебе зачтется... и потом... ты сумеешь

³² Советские ученые Н.Г.Ключева и Г.И.Роскин в 1946 году опубликовали книгу «Биотерапия злокачественных опухолей», в которой описали действие противоопухолевого препарата «КР». В том же году авторы через академика В.В.Парина с согласия министра здравоохранения СССР Г.А.Митерева передали рукопись в США. В США в связи с недостаточной аргументированностью данных, книга опубликована не была. Однако академик В.В.Парин был обвинён в шпионаже в пользу США и приговорён к заключению сроком на 25 лет (через 7 лет реабилитирован), над Н. Г. Ключевой и Г.И.Роскиным, а затем и над

деликатнее, чем другие... – он стоял перед ней, высокий, стройный, красивый, и солнечная дорожка, трепеща мириадами пылинок, тянулась к нему от окна.

– Нет, я не хочу, – Женя капризно надула губы – Это такая мерзость.

Николай чуть-чуть побледнел и съёжился, хотя в кабинете было тепло.

– Конечно, и без тебя найдутся желающие. Но я думал...

– Нет, не хочу... – упрямо повторила Женя. Это было её право – смотреть ему в глаза и говорить то, что думала.

И он, Николай, признал это её право. Он вдруг окончательно сник, устало сторбился, подошёл к Жене, и взял её руки в свои.

– Ты думаешь, я дрянь? Думаешь, мне это очень нравится? Это ты можешь отказаться, потому что мы здесь с тобой вдвоём, и у нас особые отношения... А мне деваться некуда... Ты пойми... Никогда у меня не было выбора. Человек неволен... раб... – он явно был расстроен чем-то ещё, кроме Клюевой и Роскина. Как потом оказалось, гроза собиралась над его тестем, а значит, и над ним самим...

– Я понимаю... – Женя погладила его голову. – Я тебя ни в чём не виню. Это не ты, это наша собачья жизнь...

Но сейчас, два с половиной десятилетия спустя, профессор Маевская ничего этого вспоминать не хотела, и слово «космополит» звучало для неё ругательно. Во всяком случае, в кабинете у Соковцева, глядя на его нервные, худые, с длинными пальцами руки, она желчно повторила про себя:

– Космополит, хвастун.

Эти книги на английском в роскошных переплетах, берингеровскую схему и даже виды Чикаго, Лондона и Парижа, он, казалось, выставил нарочно, чтобы доказать ей своё превосходство. И она, почувствовав, как кровь приливает к лицу, подумала с острой завистью и обидой:

– Кэгэбэшник проклятый. Месяцами сидел в Америке, делал там науку, а мы, в свои лучшие годы, дрожали и прятались от мира под павловской шапкой³³! И теперь он нас учит.

Владимир Николаевич долистал отчет и нажал на кнопку звонка. В тот же миг в кабинет вошла секретарша.

– Танечка, принеси прошлогдний отчёт профессора Маевской, – Соковцев ехидно улыбнулся. – А можно и позапрошлогдний.

Секретарша так же безмолвно вышла.

– Евгения Марковна, у меня создаётся впечатление, что вы топчетесь на одном месте. К сожалению.

– А вы думаете, Владимир Николаевич, что мы каждый год можем делать по открытию? – не менее ехидно отпарировала Евгения Марковна, очень тонко намекая на неудачу Соковцева в университете, при обсуждении его последнего открытия.

– Ну зачем же. Открытий от вас никто не ждёт. Хоть какой-нибудь выход в практику. Вы, помнится, когда-то критиковали Бессеменова, а теперь копируете его исследования.

– Владимир Николаевич, наука развивается по спирали. Сначала что-то отвергают, потом повторяют на более высоком уровне. Это диалектика.

Г.А.Митеровым, были устроены показательные «суды чести», имитировавшие настоящий суд, с многочисленными общественными обвинителями, но без общественных защитников. Параллельно в партийные организации было направлено закрытое письмо ЦК, в котором осуждались Н.Г.Клюева и Г.И.Роскин. В процессе обсуждения письма демонстрировалось осуждение их общественностью. Что касается научного существа открытия, то эффективность препарата так и не была никогда доказана.

³³ Под павловской шапкой – в позднесталинский период была развёрнута беспрецедентная кампания возвеличивания всего русского; в физиологии – учения И. П. Павлова об условных рефлексах. Во всех физиологических и медицинских работах было принято возвеличивать И.П.Павлова и его учение. При этом стоит заметить, что И.П.Павлов – действительно великий учёный, лауреат Нобелевской премии и был чрезвычайно критически настроен по отношению к Советской власти. При жизни власть его не любила, после смерти – превратила в идола, а позже забыла.

– Евгения Марковна, я к вам не придираюсь. Но я тоже должен отчитываться перед Евгением Васильевичем. И в Академии. А там люди очень грамотные. – Соковцев подавил свое раздражение, и говорил теперь устало, и даже как будто благожелательно. Раздражение Евгении Марковны тоже начинало остывать.

– У нас восемь публикаций за год в центральных журналах. Мы ведем три важные международные темы. В будущем году планируется защита сразу трёх кандидатских, – Евгения Марковна уверенно загибала пальцы.

– Ну что же, спасибо, – Соковцев устало поднялся. – И все-таки главное – выход в практику. Помнится, вы когда-то даже лозунг подобный выдвинули.

– Да, конечно, – согласилась Евгения Марковна. – Она уже торжествовала про себя, потому что ясно дала понять Соковцеву, что голыми руками её не взять. А что касается выхода в практику, то не сам ли Соковцев несколько дней назад заявил на учёном совете: «У нас академический Институт и мы должны отдавать приоритет фундаментальным исследованиям». Пусть докажет теперь, что у неё в отделе исследования не фундаментальные.

После этого разговора Евгения Марковна вышла странно успокоенная. Даже раздражение против Соковцева значительно ослабело, словно в душе у неё открылся какой-то клапан. К тому же, теперь она была уверена, что сумеет дать Соковцеву отпор, и он больше не казался таким опасным, как раньше. Да Соковцев ничего и не предпринимал. Держался, правда, по-прежнему холодно, но вполне спокойно, как-то даже поздравил с праздником при встрече. Словом, эмоций после этого разговора стало меньше, и Евгения Марковна начинала привыкать к их сосуществованию. Так бывает, когда загипнотизированный цыплёнок, ничего не подозревая и весело попискивая, приближается к пасти змея. Но это сравнение пришло ей на ум значительно позже, лишь после апробации диссертации Люды Гореловой. А на самой апробации до поры Евгения Марковна была поразительно спокойна. Пожалуй, немного удивилась приходу Соковцева и его банды (именно это слово Евгения Марковна и произнесла про себя), но, странно, совсем не почувствовала беспокойства. Формально Соковцев обязан был прийти, хотя никогда не приходил раньше, и у неё по наивности шевельнулась мысль, уж не хочет ли он, наконец-то, наладить отношения. И только когда Люда закончила выступление, и вся эта банда обрушила на неё целый град каверзных вопросов, Евгения Марковна очнулась и поняла, что вот, начинается война, а она была слишком благодушна и совсем не приготовилась к отпору. Между тем, они свой удар наносили по-гроссмейстерски, и предугадать все их домашние заготовки не было никакой возможности. К тому же это была лишь артподготовка, настоящий бой разгорится в прениях. Особенно неистовствовали Агнивцев и другой соковцевский клевет, Розенкранц. Эти вообще не о диссертации говорили, а били прямой наводкой по работе отдела и в первую очередь по теории профессора Маевской, вернее, по тому, что от ее теории оставалось.

Люда сражалась мужественно, и даже осторожно наносила встречные удары, но силы оказались слишком неравны и, несмотря на неоднократные вмешательства в дискуссию самой Евгении Марковны, к окончанию апробации совершенно потерявшей голос, Люда медленно тонула, как тонет, не сдаваясь, окружённый со всех сторон вражеской эскадрой героический корабль, пока они не отыскивали слабину, и не ударили ниже ватерлинии, напирая на методические ошибки, и тогда она сразу захлебнулась.

Наконец, Соковцев, на правах заместителя директора Института, прекратил это избивание.

– Совершенно ясно, – заявил он, – что диссертация методически слабая, содержит много недоделок и неточностей и нуждается в существенной доработке. Хочу надеяться, – Соковцев возвысил голос, потому что Евгения Марковна рванулась ему навстречу и прерывающимся голосом крикнула «неправда», – хочу надеяться, – повторил он снова, – что руководитель работы и диссертант сделают необходимые выводы.

– Это форменное хулиганство, – крикнула Евгения Марковна. – Я за каждое слово диссертации могу поручиться!

В наступившей тишине она услышала смех Агнивцева – или это только галлюцинация была? Но потом, вспоминая, она всё время представляла ироническую улыбку на его мальчишеском лице. А тогда такая жгучая волна ярости захлестнула Евгению Марковну, что она перестала видеть окружающее. Впрочем, длилось это только миг, потому что до неё тут же дошли слова Соковцева:

– Евгения Марковна, решение принято. Пусть люди идут работать.

Но работать в тот день не пришлось. Возбужденные сотрудники собрались в кабинете у Евгении Марковны.

– Ну, что вы на это скажете? – Евгения Марковна обвела взглядом подчинённых. Все они, Андрей Тарасевич, Володя Веселов, Володя Сладков, Лариса, Нина, Витя Потапов, Игорь Белгородский, Юрий Борисович сидели перед ней, чуть ли не касаясь друг друга, потому что в кабинете было тесно, и с напряжённым ожиданием смотрели на неё.

– Это форменный бандитизм. Вам надо пойти к Чудновскому, – неуверенно и робко, как всегда, сказал Юрий Борисович.

– Почему же вы *там* молчали? – едва не взорвалась Евгения Марковна. – Ведь вы же старший научный сотрудник. Вы обязаны были выступить...

Но она не взорвалась. Нельзя было сейчас взрываться...

– Предатели... Все они предатели... – но это она сейчас, в своей тёмной, вдовьей комнате шепчет едва слышно. А тогда, как ни глупо, как ни странно, она всё ещё верила им, хоть и сердилась за их молчание. Впрочем, теперь они не молчали, а возмущались и обещали сражаться до конца. И больше всех – Володя Веселов. Через месяц ему предстояла апробация. Кажется, Игорь Белгородский тогда молча сидел в своем углу, а может быть, и ещё кто-то? Это теперь уже не припомнить, да и стоит ли припоминать? Разве слова их имели значение? Разве не так же на любом собрании все голосуют единодушно, тянут руки и таят мысли? Так чего же было ждать от них?

Но она, как ни странно, поверила. И решила бороться до конца, немедленно идти к Чудновскому. Но вот ведь, она ещё только собиралась идти к Чудновскому, а они уже готовились бежать. Притаились, и ждали своего часа...

Стоило случиться лишь первому толчку и в монолите пролегли трещины...

Но существовал ли когда-нибудь монолит?..

Распад... Не был ли он заложен *в самой идее?*

На прием к Чудновскому профессор Маевская попала только две недели спустя.

– Евгений Васильевич, я пришла к вам искать защиты. Нам сознательно не дают работать. Меня и моих сотрудников обвиняют в научной нечестности. Вот уже почти три года, как мы не получали ни одного прибора. Наши заявки даже не рассматриваются. Я прошу создать комиссию и разобраться.

В том, что Чудновский не станет создавать никакую комиссию, Евгения Марковна не сомневалась. Это было бы пятно не только на репутации профессора Маевской, но и всего Института. К тому же, что может сделать комиссия? Проверить эксперименты Люды Гореловой? Но дневники и журналы у неё в порядке. Евгения Марковна всегда следила за этим. А проверить результаты – это всё равно, что выполнить Людину диссертацию заново.

Чудновский, как и ожидала Евгения Марковна, не стал разговаривать о комиссии.

– Извините, – сказал он. – Я очень занят, и потому вынужден говорить коротко и прямо. Нет у меня сейчас валюты. Всё подчистую идёт на новые лаборатории. И в близком будущем ничего обещать не могу. А там... – Чудновский будто нарочно сделал паузу.

– А там мы вообще вас прихлопнем, – беззвучно договорила за него Евгения Марковна и почувствовала, как пунцовеют её щёки, а внутри разливается странная, звенящая невесомость.

Чудновский между тем поднялся, и тяжело, вдавливая каблуки в ворсистую ковровую дорожку, по-бычьему наклонив голову и засунув руки в карманы, неинтеллигентной, тяжёлой походкой сильного, уверенного в себе мужчины, прошёлся по кабинету.

– А там посмотрим, – повторил он. – Нас с Владимиром Николаевичем очень беспокоит, что у вас нет никакого выхода в практику. Нам дают большие средства. Между прочим, за счёт других, но и спрашивать будут сурово. Так что не обессудьте...

Чудновский – массивный, крупный, с широкими плечами и властным, жёстким, будто высеченным из гранита, лицом – столько в нём было уверенности в собственном могуществе –, возвышался над ней, и Евгении Марковне на миг показалось, что какая-то властная, неодолимая сила вдавливает её в кресло, прижимает к земле, мешает дышать. Все возражения, которые она могла бы произнести, такие убедительные, пока она спорила с Соковцевым, здесь оказались ей никчемными и мелкими, и она, обессиленная, молчаливая, продолжала заворуженно следить за его шагами, не в силах стряхнуть с себя внезапную слабость и вырваться из звонкой, головокружительной пустоты. Наконец она очнулась.

– Евгений Васильевич, вы, конечно, уже знаете про суд Линча над моей аспиранткой? Я вас очень прошу разобраться.

– Ну что же, давайте послушаем её на учёном совете. Там и разберёмся, – Чудновский вынул руки из карманов и теперь стоял, слегка опершись на стол. – Я против того, чтобы отыгрываться на аспирантах.

Это была маленькая кость, которую ей кинули в обмен на все унижения, но теперь профессор Маевская и этому была рада.

Слово своё Чудновский сдержал. Повторная апробация Люды Гореловой прошла вполне благополучно. Один Агнивцев пытался оспаривать её результаты, но и он выступал без прежнего вдохновения – знал, что вопрос решён. К тому же и общественное мнение в этот раз было настроено против него. Отчасти потому, что общественное мнение следовало за мнением Чудновского, отчасти же потому, что молодежь сочувствовала Люде Гореловой, а старые профессора – Евгении Марковне. К тому же, многие завидовали Соковцеву и Агнивцеву и считали их выскочками. Так что даже Ройтбак, который терпеть не мог Евгению Марковну, сказал Агнивцеву:

– Напрасно, Юра, ты ввязался в эту некрасивую историю. Не надо было трогать стрелочницу. Это неблагородно. Липу надо рубить под корень, а ты вместо этого ломаешь ветки.

Через месяц после учёного совета успешно апробировал свою диссертацию и Володя Веселов – его уже никто не тронул. А затем, по очереди, Люда и Володя успешно защитили диссертации, и тяжкое бремя свалилось с плеч Евгении Марковны. Но это было единственное выигранное ею сражение, единственная отсрочка в войне, где теперь почти не гремели словесные залпы, и где кипучая энергия профессора Маевской разбивалась о невидимую, но несокрушимую стену молчания, шёпота, равнодушия, пожатий плечами, плохо скрытого недоброжелательства, бездеятельного сочувствия, бесконечных заседаний, согласований, советов, отчётов и канцелярской волокиты. Между тем кольцо блокады сужалось всё сильнее: новые люди к ней не приходили, их, видно, отговаривали в отделе кадров, а чаще, стоило только кому-нибудь уволиться, как у Евгении Марковны тут же забирали ставку. Новое оборудование отдел давно не получал, и даже запчасти и реактивы сотрудики выбивали с большим трудом.

Однако, как известно, человек привыкает ко всему. Привыкла к изоляции и Евгения Марковна. Теперь всюду, где бы она ни появилась, вокруг неё тотчас образовывалась пустота, и даже у себя в отделе, стоило ей покинуть кабинет, она ощущала полосу отчуждения, образованную стыдливо опущенными глазами, или замолкшим при её появлении шепотом. И она

постепенно сдалась и целыми днями отсиживалась в кабинете – пусть всё идёт, как идёт, ей бы только не слышать этот замолкший шёпот. Но в остальном всё оставалось по-прежнему, дни тянулись за днями без всяких перемен, и в этом заключалась надежда на то, что ещё долго ничего не изменится. Застой... Так бывает, когда армия, уже деморализованная и неспособная что-нибудь предпринять, наслаждается обманчивой тишиной, пока противник, или время, готовят свой решающий удар.

И вот он нанёс удар. И кто, кто! Володя Веселов, её любимый ученик, ровно через неделю после утверждения его диссертации в ВАКе...

В тот день Соковцев была сама любезность. Он встретил Евгению Марковну у самой двери и плавным, каким-то даже торжественным движением указал на кресло.

– Евгения Марковна, что вы можете сказать о вашем сотруднике Веселове?

– О Веселове? – искренно удивилась Евгения Марковна. Она предполагала, что Соковцев вызвал её из-за годовой заявки, и готовилась дать бой.

– Хороший работник? – снова спросил Соковцев.

– Да, хороший, – всё так же недоумённо ответила Евгения Марковна.

– Вот его заявление, – Соковцев чуть помешкал, чтобы продлить своё торжество, которое он даже не мог скрыть, потом взял со стола лист бумаги. – Просит перевести его в мой отдел. Не видит перспективы в продолжении своих научных исследований. Не согласен в принципе с направлением работ в отделе, с вашей концепцией ритмичности и, как он выражается, с вашими авторитарными методами руководства. Пишет, что вы самокорыстно использовали его идеи.

– Его идеи? Да какие у него идеи? – не то удивилась, не то возмутилась Евгения Марковна. – Просто наглый мальчишка.

Соковцев слегка улыбнулся.

– Я не думаю, что нам из-за этого стоит поднимать шум. Для меня это такая же неожиданность, как и для вас. Вы не станете возражать, если мы удовлетворим его просьбу?

– Да, конечно, не стоит поднимать шум, – покорно согласилась Евгения Марковна. – Я не стану возражать.

Она была так расстроена, что даже не стала спорить из-за годовой заявки, почти полностью зарезанной Соковцевым. К чему, если всё равно распад...

– Кто же следующий? – думает Евгения Марковна, глядя в темноту, в промозглую нескончаемую ночь. Этот вопрос теперь всё время подспудно живет в ней, как будто это так важно: кто именно будет следующий?

– Нет, Юрий Борисович не уйдет. Куда он денется со своей анкетой? Сладков, Тарасевич – эти ещё аспиранты. Игорь Белгородский? Да, пожалуй, он. Честолюбив, хочет играть первые роли, у меня ему нечего ждать. Но и у него ведь пункт. Оттого, наверное, не ушел до сих пор. Значит, ему только и остаётся, что пойти к Соковцеву? Или уехать в Израиль. Этого ещё не хватало... Ведь всё пришьют ей... Она всегда у них виновата...

Евгения Марковна тяжело встает, подходит к окну, вздыхает. Лишь один человек мог бы ей помочь. Не спасти, конечно, но хоть замедлить её падение...

Человек этот – Коля...

ГЛАВА 13

Николай был старше Жени всего на четыре года. Но в тридцать восьмом, на заседании патологического кружка, когда Женя увидела его впервые, он показался ей значительно старше, несмотря на юношеский румянец на щеках и по-мальчишески мягкие, редковатые усики. Коля был неизменным старостой кружка и как раз выступал с докладом. За сорок два года её впечатления давно потеряли первоначальную свежесть, поблекли и раздвоились. И теперь Евгении Марковне то представлялось, что Коля с первого взгляда показался им, первокурсникам, мудрым эрудитом, почти непререкаемым авторитетом, и они жадно внимали и верили всему, что он говорил, то, напротив, что он совсем не понравился, и что подружка, Валя, шепнула ей на ухо:

– Профессора из себя строит, – и обе они весело рассмеялись.

На заседании кружка по патологической физиологии Женя оказалась не случайно. Папа наставлял её перед отъездом: «Обязательно запишись в кружок к профессору Медведеву. Патология – ключ ко всей медицине. И человек он необыкновенный, энциклопедист. Ты сама поймёшь, когда послушаешь его лекции».

В институте имя профессора Медведева было окружено легендами. Учёный с мировым именем, ещё из старых, дореволюционных профессоров, учился в Геттингене, стажировался у Людвига³⁴, состоял в молодости в партии эсеров, побывал в тюрьме, но потом отошёл от политики, всецело посвятив себя науке. И лектор он был необыкновенный – сухонький, седенький Демосфен с молодым бархатистым голосом, блестящий эрудицией, строгой логикой и невероятно глубокой культурой. Потом Евгения Марковна часто сравнивала с ним Бессеменова. Они казались похожими, но это было не фамильное, не родственное сходство, скорее, на них обоих лежала печать иной эпохи и иной культуры. К тому же в манерах Александра Серафимовича проскальзывало что-то артистическое: взойдя на кафедру, он мгновенно преображался, молодел на глазах, увлекался так, что и он сам, и студенты забывали о времени и нередко опаздывали на следующие занятия. Он и умер на кафедре во время лекции, но это потом уже, вскоре после войны. А тогда, не надо и говорить, на лекциях его всегда было полно народу, хотя никто никогда не вёл учёт посещаемости, как на других кафедрах, и кружок его, наверное, был самый многочисленный в институте. Там студенты не только ставили эксперименты, но и вели дискуссии, подчас далеко выходящие за пределы предмета.

Рассказывали, что много лет назад, до революции ещё, в Петербурге, профессор как-то на лекции так увлёкся демонстрационным опытом, что совсем забыл об аудитории и даже не заметил, как потихоньку разошлись обиженные курсистки. Однако был вознагражден: именно в тот день он совершил открытие, принесшее ему широкую известность среди патологических физиологов.

Теперь уже трудно вспомнить, слава ли и обаяние профессора Медведева, красноречивый ли красавец староста с серыми глазами и каштановыми кудрями, которых нет давно, мечты ли о научной славе – ведь тайно рядом с Марией Склодовской и Софьей Ковалевской виделась себе, никак не меньше, – но только с того самого дня стала Женя регулярно посещать все занятия кружка, так что вскоре красавчик Коля тоже заметил милостивую студенточку с ямочками на щеках, с толстыми косами, мечтательными карими глазами и такими ровными, белыми, красивыми зубами, что ей поневоле приходилось часто улыбаться. И не только улыбаться! Она ведь хохотушкой слыла, самой весёлой на курсе. Сейчас не поверят – укатала Женечку жизнь, но ведь было, слыла! О, какой у неё был смех, будто колокольчик из мягкого серебра. Они часто ходили с Колей в кино, в театры, гуляли в парке Горького, говорили

³⁴ Людвиг Карл (1816—1895) – немецкий физиолог.

о науке, о новых книгах, о войне в Европе, которая всё ближе подбиралась к советским границам, о профессоре Медведеве, и о своих мечтах. Да о чём только они не говорили! Даже коротких весенних вечеров им не хватало (наступил уже сорок первый) – так хорошо и интересно им было вместе. На всю жизнь запомнила Евгения Марковна (словно кадры в кино из чужой жизни), как много раз стояли они в темноте под тополями напротив общежития и ласковый ветерок обнимал их и шевелил их непокорные волосы, и где-то за яркими, раскрытыми окнами, брэнчала гитара и пел патефон, и Коля нежно гладил её лицо, волосы, руки, и они прижимались друг к другу, и были долгие-долгие поцелуи, и вздохи, и слова любви. Они собирались пожениться осенью, после каникул. Летом Женя хотела пригласить Колю к себе домой, познакомиться с родителями, но тут впервые страшно сломалась жизнь – война, и почти сразу всё переменялось...

Начались занятия по гражданской обороне, дежурства по ПВО, работа в госпитале, ускоренные занятия в институте. Говорили, что студенток скоро призовут медсёстрами в армию. Впрочем, говорили много разного, в первые дни войны повсюду господствовала неразбериха и толком никто ничего не знал. И от этого, как и от фронтовых сводок, мысли стали совсем иные, очень тревожные, к тому же, гнетущее беспокойство за родителей. Отца в тридцать девятом послали работать на Западную Украину, во Львов. Город был занят немцами в первые же дни войны, а от родителей за всё время пришло лишь одно письмо, от двадцать второго июня, и с каждым днём, с каждой новой сводкой оставалось всё меньше надежды, что папа и мама живы. Приходили лишь панические письма от бабушки, из Днепропетровской области. Она совсем растерялась, то оплакивала родителей, то просила хоть на один день приехать, то, напротив, сообщала, что эвакуируется, но никак не решалась сорваться с места – надеялась, что однажды в доме появятся папа с мамой, и что папа всё, как всегда, решит за неё, и боялась оставить дом, вещи, и надеялась, вопреки событиям, что немцев вот-вот остановят, и погонят вспять. У Жени от предчувствий с тревогой сжималось сердце, она советовала бабушке немедленно уезжать. Родителям, если они остались живы, бабушка ничем не смогла бы помочь. Наконец, в сентябре объявили, что институт будут эвакуировать в Уфу, чтобы там ускоренно, год за два, закончить учёбу и пойти на фронт врачами. Женя тотчас написала бабушке, чтобы та тоже эвакуировалась в Уфу, но до бабушки письмо уже не дошло...

Всё это время Женя Колю почти не видела, он был занят какой-то срочной работой. Всё прежнее, что было между ними, сразу отошло в прошлое, даже сама она, прежняя, довоенная, казалась себе теперь совсем чужой.

Коля пришел к ней в общежитие почти перед самым её отъездом. Собирался со дня на день на фронт, во всяком случае, так он говорил. Он сидел рядом, большой, сильный, но какой-то отрешённый, раздавленный – мысли о фронте и о смерти неотступно преследовали его.

Нет, пожалуй, Коля не был трусом. Он не боялся прыгать с парашютом, и на лыжах катался с самых высоких гор, но он был махровым эгоистом, только это дошло до неё не один год спустя. Он всегда был занят собственными делами и планами, и не мог примириться, что какая-то нелепая случайность может перечеркнуть их навсегда. Он обнимал Женю как прежде, но даже объятия его стали холодными, словно смерть неотступно смотрела ему в глаза. Он и говорить ни о чём другом не мог – только о войне, о крови, о смерти, и о своей несчастной судьбе. Он почему-то был уверен, что на войне его должны убить. Даже к работе потерял интерес, говорил о ней, будто о чём-то прошлом, счастливом, но утерянном навсегда. Потом исступлённо, словно искал у неё защиты, припадал к её губам, ласкал и ласкал, а Жене хотелось плакать, потому что она чувствовала, что это конец, последняя их встреча, окончательное прощание и с ним, и с прошлым, которое не повторится никогда. Будущее, о котором Женя мечтала, вдруг исчезло, и у них осталось только настоящее – жестокое, короткое, словно шагреньевая кожа, и надо было всё успеть, всё, в эти последние короткие часы перед отъездом.

Всё успеть и всё забыть, пусть хоть на несколько часов. Эти оставшиеся часы принадлежали им, только им, прошлому, а там... не хотелось думать, что будет, и что может быть там. И она уступила его отчаянным, то жарким, то безнадежным ласкам...

Потом, уже женщиной, Женя сжала его голову руками, и горячо и нежно, будто ребенка, целуя в лоб, шептала:

– Коля, не бойся. Всё будет хорошо. Только обязательно мне напиши. Я буду очень ждать. Очень. Главное – верить.

Но Коля её уже не слышал. Он торопливо и озабоченно возвратился в жестокий мир, который так ненадолго покинул. Его опять окружали прежние заботы и мысли, он замкнулся и сразу стал чужим и далёким, словно здесь, рядом, оставалась лишь его брэнная плоть. Душа же бродила по полям сражений, там, где убивали и калечили, глядя на них невидящим, смятенным, погружённым в себя взором.

– Хорошо, я напишу. И ты отвечай. Обязательно отвечай... Даже если я не пойду на фронт...

– Тебя могут не взять в армию?

– Не знаю. У меня, может быть, есть возможность... – он осёкся и добавил уклончиво. – Мне предлагают одну, очень важную работу. Но ничего ещё не известно, – Коля, похоже, пожалел, что сказал что-то лишнее, да может, он и сам ничего не знал толком, или боялся сглазить везение. Хотя, везенье ли это было тогда? Или он уже всё решил, уже предал её и сделал свой нелёгкий, жестокий выбор?

Жене от этого стало горько. Нет, она вовсе не хотела, чтобы Коля обязательно ушёл на фронт, но теперь всё, что произошло между ними, становилось ложью. Он что-то скрывал и это, после всего, было самое обидное.

Потом они расстались. Говорили и делали всё, что положено говорить и делать при расставании, но слова их были пусты, и они хотели – да, да, хотели – побыстрее расстаться. Им стало тяжело друг с другом. И едва она втиснулась в тамбур до предела забитого вагона, едва поезд тронулся, и мимо поплыла незнакомая, тёмная, непривычно пустая Москва, образ Коли окончательно померк. В Уфе она еще получила несколько коротеньких, ничего не значащих писем, и почти так же коротко ответила на них по какой-то пустой инерции. А потом он женился – на ком, этого Женя в то время не знала. Он написал только, что женится, просил простить его и желал ей счастья. Произошло это в начале сорок второго года, и Женя решила, что между ними всё кончено. Даже, может быть, они никогда не встретятся больше. Сказать честно, она ждала этого письма, ждала с той самой минуты, когда он сказал, что, возможно, его не возьмут на фронт. Сама удивлялась потом своей проницательности. Но ещё больше, чем собственная проницательность, её поразило безразличие, с которым она восприняла последнее известие от Николая.

Стояло лето сорок четвертого года. Небо было удивительно чистое, голубое, без единого облачка. Заливисто пели соловьи. А когда они на короткое время замолкали, вдруг наступала необыкновенная, до звона в ушах, прозрачная тишина, которую лишь изредка нарушали кузнечики. Женя с Борисом шли по опушке леса, среди редких малорослых ёлочек и осин, по густой, зелёной, влажной от росы, траве, а всего в нескольких шагах, у тихой, прозрачной речки, среди зарослей крапивы и полыни, наливались ягодами рябины.

– Смотри, вот целая семья белых грибов, – сказал Борис. Он аккуратно, чтобы не повредить грибницы, срезал ножки, сложил грибы в корзину, и они пошли дальше, к прозрачному ручью, искрившемуся на солнце.

– А здесь подберезовики, – первой увидела Женя.

– И здесь тоже.

– Ты хорошо разбираешься в грибах? Было бы обидно погибнуть на войне из-за грибов.

– Я не думал, что ты трусиха, – Борис взял Женю за руку и заглянул ей в глаза. – Правда, хорошо здесь?

– Да, очень.

– Ты не жалеешь, что встала так рано?

В ответ она пожала его руку.

– Здесь такая тишина, что кажется, будто нигде нет войны.

– И никто нигде не умирает.

– И солнце светит только для нас двоих.

– А ты хотел бы быть Робинзоном?

– Только если бы ты была рядом.

Борис подхватил её на руки и легко перенёс через ручей. Женя тесно к нему прижалась. Она охмелела от его объятий, от солнца, от тишины, от странной неги и желания, и Борис, тотчас почувствовав её настроение, прижался головой к её груди, потом медленно нашёл её губы, и понёс дальше, туда, где вместо тоненьких недоростков-ёлочек и скособоченных осин, тянулись ввысь гордые, стройные, целомудренные берёзы. И там, среди разноцветья трав, полевых цветов и пения птиц, он, как рыцарь, опустился на колени и нежно посадил её на землю. Снял с себя и подстелил гимнастёрку, и они забыли обо всём на свете...

Потом они снова шли, тесно прижавшись друг к другу, и всё было так чудесно: и тихий шелест листьев, и солнечные блики на траве, и стрекотание кузнечиков, и пролетающие мимо бабочки и стрекозы.

– Смотри, вон муравейник, – показал Борис.

– Я никогда ещё в жизни не видела такой муравейник, – восторженно удивилась Женя.

– Конечно, в Москве муравейников нет, – Борис снова обнял её, и они опять поцеловались...

«Вот ты и ошибся», хотела сказать Женя, «Москва – это огромный муравейник. И люди как муравьи...»

Но она не сказала.

– Женя, – позвал Борис, и она почувствовала, что он очень волнуется, и снова, как заклинание, он повторил её имя, – Женечка... – Борис волновался сильнее, чем во время самой сложной операции, – Стань моей женой. Навсегда. Хорошо? Поедем ко мне в Херсон. Мама должна скоро вернуться из эвакуации...

Отец Бориса умер перед самой войной, старший брат, Аркадий, погиб под Сталинградом, а от младшего, Давида, давно не было писем. Тень тревоги на мгновение набежала на крупное, красивое лицо Бориса, и радостные лучи погасли в его глазах, карих, как у матери.

– У нас там был свой дом... – не знаю, – или остался... – Борис часто говорил «или» вместо «ли», и Женя к этому давно привыкла, как привыкла к его чуть заметному, южному еврейскому акценту. Её родные, особенно бабушка и мама, говорили так же, только у Бориса акцент был почти незаметен.

Жене очень хотелось снова обнять его, и сказать ему «да», и ещё очень захотелось заплакать, потому что Борис напомнил ей о родителях. Но она не заплакала, не сказала «да», и не кинулась ему на шею. Вместо этого она, капризным голосом, полуплутиливо-полусерьёзно произнесла:

– Посмотрим на ваше поведение.

Правда, при этом она не забыла очень мило улыбнуться, чтобы смягчить свой неопределённый ответ и показать ровные, ослепительно красивые зубы.

Борис погрустнел, глаза у него стали невеселые, но он, по-прежнему продолжал держать её за руку. Они опять собирали грибы, и уже пора было возвращаться в госпиталь, когда Женя неожиданно оступилась – не заметила глубокую, заросшую травой ямку, и громко вскрикнула от боли. Это было её первое и последнее ранение на войне. Жене пришлось присесть на пенёк.

Борис со своей обычной педантичностью осмотрел её ногу, констатировал растяжение связок и наложил тугую повязку.

Потом он подхватил её на руки.

– Я отнесу тебя домой, – Борис был сильный и очень гордился этим. Он мог бы носить её на руках всю жизнь.

– Нет, подожди, давай немного посидим. Здесь так хорошо.

Женя присела на пенек, а Борис расположился рядом у её ног, положил голову Жене на колени, и влюблённо смотрел на неё, а она гладила его голову, перебирая в руках жёсткие кудрявые волосы.

– Ах, какая глупая я была, – нить воспоминаний оборвалась, и сырой холодный мрак московской ночи снова глянул в одинокое окно. Озноб пробежал по коже. Евгения Марковна плотнее закуталась в плед. – Бабье счастье такое простое. Не наука, не Москва, а дети.

Но тогда, на закате войны (впрочем, до победы оставалось ещё погибнуть сотням тысяч или миллионам людей, и предстояло ещё девять с лишним кровавых месяцев боев, ровно столько, сколько нужно, чтобы выносить ребенка), в тот солнечный прозрачный августовский день, всё не казалось ей таким простым. Ей предстояло выбрать одну из двух жизней – ту, которую мог предложить ей Борис, или иную, московскую, что по-прежнему манила её к себе. В том, что Борис не захочет поехать в Москву, Женя не сомневалась – он был слишком привязан к матери, к дому, и к прежней своей жизни. Да если бы он и согласился, кто ему позволит жить в Москве без прописки? И где? И потому, хотя ей очень хотелось ответить «да», она так и не дала ответ. Прежде, чем ответить, она должна была сделать выбор, сама всё решить для себя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.